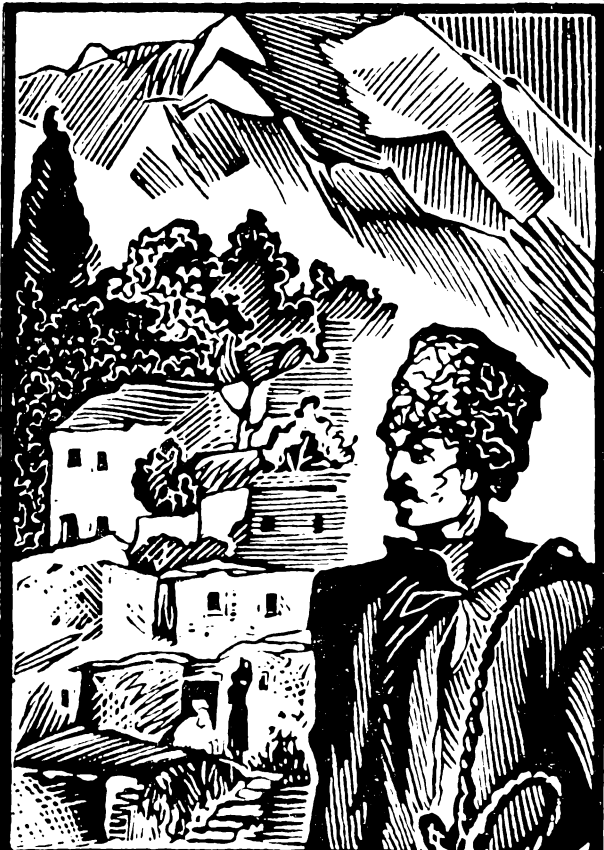


Хизгил
Авшалумов

ВОЗМЕЗДИЕ

Повесть
Рассказы



ВОЗМЕЗДИЕ



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Ходит по селу гудил

Было начало мая. В садах, сплошным кольцом опоясавших небольшое селение Нюгди, пышно цвели деревья. Легкий теплый ветерок доносил душистые запахи, которые, точно молодое бродящее вино, кружили голову. Как охмелевшие на пиру ашуги, самозабвенно пели соловьи.

Последние дни по-летнему пригревало солнце. Поэтому озимые на полях быстро пошли в рост, леса оделись в густую ярко-зеленую листву, а сады зацвели буйно, словно вспенились. Но сегодня внезапно похолодало. По низкому серому небу, как длинный караван лохматых верблюдов, поплыли, клубясь и подталкивая друг друга, тяжелые дождевые облака.

Селение будто вымерло. Узкие, кривые улочки с приземистыми глинобитными домишками, окруженными невысокими плетеными заборами, были безлюдны и пустынные. Все взрослые и подростки находились в поле: был разгар весенних полевых работ. Даже собаки и те притихли — не на кого лаять.

Тихо, безлюдно и на майдане, где на досуге обычно собираются нюгдинцы, чтобы похабар-

ничать о том, о сем, послушать разные новости. Нюгдинец, хоть и не любопытен по натуре, но верит в пророческую силу известной поговорки: «Если в течение дня человек не услышит хотя бы одного хабара, он или оглохнет, или ослепнет». А где, как не на майдане, можно услышать хабар о том, что кого-то забодал буйвол или лягнул осел, как чей-то зазевавшийся глупый теленок угодил в пасть хищнику, что у кого-то жена разрешилась благополучно или стала жертвой грозы рожениц — нагой богини Дедей-Ол¹, а также узнать, какой еще новый налог придумала казна...

Только двое нюгдинцев в этот день были на майдане. Один из них — горбоносый, коренастый мужчина с густой курчавой бородой, похожей на виноградную гроздь, и гордой осанкой — сидел на завалинке, широко расставив крепкие мускулистые ноги, обутые в мягкие сапоги. На нем была серая каракулевая папаха и зеленый атласный бешмет, перехваченный в талии узким наборным поясом, на котором висел небольшой кинжал с серебряной рукояткой. Темно-карие глаза из-под черных лохматых бровей смотрели на мир строго и хмуро. Это был сельский староста Гомуил. Возле него, прямо на земле, устроился худой старик с жиденькой седой бородкой, топкой жилистой шеей. Как и у

¹ Дедей-Ол — злое божество, обитающее в дремучем лесу. По татскому народному поверью, Дедей-Ол является в образе красивой нагой женщины. Чтобы обмануть роженицу, она приходит к ней в облике одной из ее родственниц. Вынув легкие и сердце своей жертвы, Дедей-Ол спешит в лес, где полощет их в лесной речке и тут же проглатывает. После этого роженица умирает. *(Все примечания — автора.)*

многих его односельчан, вся одежда старика состояла из бязевой рубашки и шаровар. Они, видимо, служили ему и верхним платьем и нижним бельем в будни и в праздники. Поэтому одежда на старике, покрытая заплатами и пропитанная потом и грязью, не имела определенного цвета. А когда он наклонялся, из-под рубахи резко выступали, как обручи на бочке, худые ребра и сутулая костлявая спина.

Гомуил и старик, пожалуй, были единственными мужчинами, которые остались в селе. Дымя кальяном с длинным чубуком и шумно вздыхая, староста долго молчал, сурово нахмурив брови.

— Вот дождя бы сейчас! Начало мая, а дождя все нет и нет!..— прервав наконец молчание, с нескрываемой досадой, тихо, будто про себя, проговорил Гомуил, провожая долгим тоскливым взглядом ползущие тучи.

Старик, не поднимая головы, исподлобья бросил на старосту недружелюбный взгляд.

«Если бы влага нужна была только твоим полям, то справедливый бог не дал бы упасть ни одной капле. Пусть бы сгорело все...»— со злобой подумал он, а вслух сказал совсем другое, пытаясь даже придать своему голосу сочувствие:

— Бог милостив... Пошлет дождь. Ты же видишь, все небо обложило тучами, как скошенный луг скирдами. Может, даже сегодня пойдет. Зря ты волнуешься, староста.

Гомуил, не поворачивая головы, искоса испытующе посмотрел на собеседника и неожиданно почувствовал к нему острую неприязнь: глубокие морщины, которыми было изборождено лицо старика, вдруг напомнили ему злове-

щие кривые трещины на опаленном засухой поле. Полные, чувственные губы старосты, почти скрытые под пышными усами, скривились в злой усмешке. «Зря ты волнуешься, староста...» — мысленно передразнил Гомуил старика, с трудом скрывая свое раздражение. — Тебе что, ты гол, как ободранная липа. Тебе терять нечего. Если мои посевы и виноградники, не дай бог, загубит засуха, а скот повалит чума, ты даже рад будешь. Знаю я вас, голодранцев. С виду заискиваете передо мной, а в душе завидуете...»

Но староста, как и его собеседник, произнес вслух совсем не то, что думал:

— Ах, не говори так, джан Шелбет. Вот и в прошлом году в это время стояла такая же погода. И что же? Тучи прошли караваном на север, не уронив на землю ни капли дождя. — Потом он, немного помолчав и сделав обиженное лицо, добавил: — Клянусь богом, не понимаю, почему в этом году никто не обряжается гудилом? ¹ То ли все чересчур заняты, то ли никого еще не одолел голод... Не знаю. Я бы сейчас с радостью плеснул на гудила кружку воды.

Не прошло и получаса, как, словно в ответ на сетования старосты, с окраины села, где за окрестными садами начинался лес, неожиданно донеслись дружные задорные голоса ребятишек:

— 'Э-э-э-эй!.. Гудил идет! Идет гудил!..

Селение, несколько минут назад погруженное в глубокое безмолвие и казавшееся безлюд-

¹ Гудил — ряженный. По обычаю татов, каждую весну, когда посевы жаждали влаги, кто-нибудь в селе (обычно бедняк) обряжался гудилом. Его плотно обвязывали зелеными ветками и с песней водили по дворам.

ным, вдруг ожило, наполнилось шумом, движением, суматохой. Из разных уголков села, точно юркие мышата из нор, почуявшие поживу, стали выскакивать босоногие ребятишки. Они с радостными возгласами устремлялись бегом навстречу гудилу. Из домов поспешно выходили оставшиеся в селе старухи и беременные женщины. Они, поджидая гудила возле своих домов, держали наготове глиняные кружки и кувшинчики, наполненные холодной родниковой водой. Следом за ними, нетерпеливо помахивая пушистыми хвостами и косясь по сторонам, выбегали из дворов удивленные, озадаченные псы, не зная, лаять им наобум или повернуть назад, туда, где они только что, сладко позевывая, спокойно дремали под навесами. Всполошилась, взъерошив перья, как еж свои острые иглы в минуту опасности, ворчливая наседка с цыплятами. Завидев приближающуюся крикливую ораву ребятишек и засуетившихся женщин, она, тревожно кудахтая, бросилась со своим пискливым потомством под ветхий плетень.

Гудил медленно двигался к майдану. Он с головы до ног был так закрыт длинными ветками с молодыми маслянистыми листьями, что самого его не было видно. Поэтому казалось, что по улице идет не человек, а густая связка ветвей.

Рядом с ним, держа в руке конец мягкого ивового прута, которым гудил был обвязан, шел худой, бледный мальчик лет четырнадцати, в ободранной папахе, одетый в длинную просторную рубашку из старой мешковины. На плече у него висел большой мешок, почти касавшийся земли. Он чуть охрипшим голосом то ли пел, то ли говорил, а шумная босоногая детвора, ве-

село́й гу́рьбой неотступно следовавшая за гудилом, во всю силу своих звонких голосов нестройным хором вторила ему: «Хо! Хо!»

— Идет гудил по селу! — громко, нараспев произносил мальчик.

А ребятишки с горящими глазами на озорных, радостно возбужденных лицах неистово выкрикивали:

— Хо! Хо!

— Да ответит бог от вас все беды и невзгоды! — краснея от натуги, кричал поводырь.

— Хо! Хо! — повторяли дети.

— Да пошлет бог небесную влагу!..

Около каждого дома гудил останавливался. Под веселые выкрики разошедшейся детворы мальчик-поводырь каждый раз громко произносил положенные слова песни-заклинания. А женщины, молодые — с веселым задорным смехом, пожилые — с молитвенным шепотом, выплескивали на гудила холодную родниковую воду и тут же бросали мальчику в мешок куски чурека, сыпали муку, совали в руки яйца.

Увидев приближающуюся процессию, обычно суровый и важный староста по-мальчишески повеселел. Выхватив из рук молодой женщины кружку с водой, он с довольной улыбкой на лице стал терпеливо поджидать, когда гудил поравняется с ним. Но, узнав поводыря, староста сразу нахмурился, на лице его появилось явное разочарование. Было видно, что эта встреча ему неприятна. На минуту рука с поднятой кружкой застыла, но потом Гомуил, вновь улыбнувшись, энергичным движением плеснул водой на остановившегося рядом гудила, громко приговаривая: «Дай бог дождя! Дай бог дождя!..»

Человек, наряженный гудилом, внимательно наблюдал сквозь ветки за старостой. Увидев, как тот, ко всеобщему удивлению, протянул мальчику серебряный полтинник, Гудил, вместо того чтобы радоваться щедрому пишкешу¹, вдруг в ярости затряс мокрыми ветками, брызгаясь водой, и хриплым, простуженным голосом крикнул:

— Староста! Этой подачкой не искупишь тяжкого греха, который лежит на твоей совести... Поглядим, чья мать заплачет. Я еще жив!..— Гудил боком подтолкнул мальчика.— Брось, сынок, его монету к черту, пусть он подавится ею!

Растерянный и смущенный мальчик нехотя выбросил монету и, понуро опустив голову, медленно поплелся за гудилом. Больше он не стал выкрикивать слова песни-заклинания и зазывать людей.

Ватага ребятишек, увивавшаяся за ними, огорченная и разочарованная тем, что так скоро и неожиданно закончилось веселое зрелище, стала понемногу расходиться.

Гудил и мальчик не успели дойти до своего жилья, расположенного у южной окраины села, как, словно горпый обвал, многократно прогремел гром, а огненные зигзаги в нескольких местах прорезали небо, будто стремясь расколоть его на части. Долго собравшийся дождь пошел внезапно, гулко барабана по высохшей земле тугими струями.

— Сын, развяжи меня скорее! — слышался сдавленный нетерпеливый голос гудила.

¹ П и ш к е ш — подарок, в данном случае — подаяние.

Мальчик, поправив на плече мешок, принялся быстро распутывать ивовые прутья. Вскоре тяжелые мокрые связки веток глухо шлепнулись о землю. Теперь, несмотря на серую дождевую пелену, нависшую над землей, можно было разглядеть человека, который только что ходил гудилом по селу. Это был высокий, худой мужчина лет сорока с ссутулившейся спиной, впалыми щеками и редкой бородкой, в серой, не по росту короткой изодранной рубашке, сквозь прорехи которой местами просвечивало посиневшее от холода мокрое тело. Он дрожал, стуча зубами, потом вдруг покачнулся и, чтобы удержаться на ногах, оперся рукой об острое худое плечо сына.

— Отец, тебе плохо? — спросил мальчик, с тревогой поглядывая на него.

Тот в ответ лишь кивнул головой.

Отец и сын, промокшие до нитки, подхлестываемые косыми струями дождя, крепко держась друг за друга, медленно побрели домой. А небо продолжало яростно греметь, пуская им вслед огненные стрелы, словно желая поджечь их, как высохшие деревья в лесу, которые еще стоят, цепляясь корнями за землю, но давно уже не зеленеют.

Мужчина с помощью сына еле добрался домой и, дрожа как в лихорадке, сказал:

— Сосун, скорее постели мне!

Дом у них, как и у всех нюгдинцев, был глинобитный. Вместо окна в середине потолка — небольшое круглое отверстие, затянутое бычьим пузырем, отчего углы комнаты даже в ясные солнечные дни тонули в полумраке и она папоминала скорее пещеру, нежели человеческое жилье. В одном углу было устроено подо-

бие очага: прямо на голом полу, между двумя большими серыми булыжниками горел огонь, а дым выходил через дыру в крыше. Сейчас, когда во дворе шел дождь, она была закрыта сверху опрокинутым деревянным корытом. Поэтому густой дым стелился по комнате, ел глаза. Чтобы не задохнуться совсем, приходилось время от времени открывать дверь, проветривать комнату.

Сосун торопливо сбросил с плеч мешок, подошел к нише, похожей на темный провал, взял оттуда сложенный вчетверо полуистертый палас, старый, облезлый бараний тулуп и рваное грязное одеяло, пропахшее потом и прокисшим сыром. Расстелив на полу палас, а сверху него одеяло, мальчик уложил отца и накрыл его тулупом.

Возле очага, на голом глиняном полу сидела, обняв худые коленки, маленькая глазастая девочка лет шести с бледным острым личиком, с круглой родинкой на щеке и копной давно не мытых, спутанных волос. Она безучастно, словно со стороны, глядела на происходящее в доме.

Сосун устало опустился на пол у постели отца, который, свернувшись под тулупом, все еще дрожал. Приглушенные стоны, глуховатый надрывной кашель отца терзали сердце мальчика, вызывая в его встревоженной памяти печальную картину кончины матери осенью позапрошлого года.

Кто-то тихо толкнул дверь, и в комнату неслышно вошел, держа в руке маленький узелок, низенький человек с коротко подстриженной ярко-рыжей бородой. Он считался в Нюнди мастером на все руки: был знахарем, цирюльни-

ком, мюрдешуром¹, но официально числился чаушем² при старосте. Звали его Илогу.

Односельчане относились к нему холодно, отчужденно, а некоторые — с неприязнью, но он был им необходим. Любую болезнь нюгдинцы объясняли вмешательством нечистой силы. А чтобы изгнать ее из тела больного, они приглашали Илогу. Иногда, не дожидаясь приглашения, тот и сам являлся к больному, чтобы кровопусканием и заговором излечить его. Если человек выздоравливал, то это приписывали чудодейственной силе знахаря, а если умирал, то вину возлагали на мрачного и неумолимого ангела смерти Азраила.

Окинув быстрым взглядом зеленоватых глаз полутемную комнату с голыми глиняными стенами, притихших детей, Илогу неторопливо подошел к постели больного. Опустившись на корточки, он с деловитым видом приподнял край тулупа и посмотрел в пылающее лицо больного.

— О-о! Ты что, дорогой Ишмаил, и впрямь заболел?.. Как себя чувствуешь? — с участием в голосе спросил знахарь.

— О-о-ой! Плохо, очень плохо! — глухо простонал больной, не открывая глаз.

Илогу положил руку на лоб Ишмаила и сразу, почувствовав ладонью жар, убрал ее.

— Ничего, дорогой, поправишься, — бодро проговорил знахарь, а потом тихим, дружеским тоном добавил: — А я не знал, что ты болен, завернул к тебе совсем случайно. Возвращаюсь из соседнего села, куда меня приглашали пу-

¹ М ю р д е ш у р — человек, который оmyвает покойников.

² Ч а у ш — посыльный.

стить кровь больному, поэтому аккурат и нештер¹ при мне...

— О-о-ой, плохо, пло-о-хо мне,— жалобно повторил больной.

В комнате было слышно, как по крыше и в дверь хлещет дождь. Временами доносились отдаленные раскаты грома. Положив узелок на пол, Илогу зябко поежился и, передергивая плечами, энергично потер руки, не сводя глаз с больного. С его рыжей бороды и мокрой одежды каплями стекала на пол вода.

— Наверно, сам бог внушил мне завернуть к тебе с дороги,— после короткого молчания вновь заговорил знахарь.— Шел мимо твоего дома и вдруг вспомнил о тебе: дай, думаю, зайду проведаю беднягу Ишмаила... Не горюй. Пущу тебе кровь, прочитаю заговор, и ты поправишься. У меня рука легкая.— Илогу тихо самодовольно засмеялся, обнажив мелкие острые зубы.— Бог даст, встанешь на ноги — тогда и уплатишь мне за лечение,— деловито заключил он.

Знахарь приказал мальчику принести таз, а сам тем временем помог больному приподняться. Взяв Ишмаила за локоть, Илогу засучил до плеча рукав его рубашки, а затем принялся с силой тереть его худую, как палка, бессильную руку, пока на ней не вздулись синеватые жилы. Поставив перед Ишмаилом таз, он короткими проворными пальцами развязал узелок, достал оттуда нештер, уверенным, точно рассчитанным движением воткнул нож в вену боль-

¹ Нештер — обоюдоострый нож, которым вскрывали вену для кровопускания.

ного. Тот сразу вздрогнул и громко застонал от боли. Из вскрытой вены тугой струей брызнула кровь. Знахарь быстро придвинул таз, повернул мелко дрожащую руку пастуха, и кровь с тонким звоном ударила в гулкое дно медного таза.

С каждой минутой кровь в тазу прибывала, но Илогу продолжал цепко держать руку Ишмаила. Когда тот начинал делать беспокойные движения, он, недовольно косясь на него, еще крепче стискивал его руку, строго и наставительно приговаривал:

— Не маленький, потерпи еще немного!..

Вдруг Ишмаил обмяк, голова бессильно свалилась на грудь. Он потерял сознание.

— Па-па! Па-па! — закричал истощенным голосом мальчик и заметался вокруг его постели.

Услышав голос брата, девочка, которая все это время молча сидела у тлеющего огня, со страхом и удивлением наблюдая за жуткой процедурой, заплакала.

— Ой, мой папочка!.. Ой, мой папочка!.. — колотя себя кулачками по коленкам, запричитала она.

На какую-то долю минуты растерялся и знахарь. Но тут же его лицо вновь приняло жесткое и упрямое выражение.

— Да что вы разревелись, ей-богу?! — недовольно прикрикнул он на испуганных плачущих детей. — Ничего с вашим отцом не случилось. Так бывает, пройдет. — И пронзив Сосуна острым взглядом, добавил с укором, кивнув на ревущую девочку: — Она девочка, да еще маленькая, а ты-то парень, папаху носишь, не стыдно тебе?!

Больного снова перенесли в постель. На рану наложили паутину и завязали тряпкой. За-

тем Илогу вынул из кармана своего чохо¹ куриное яйцо, покрутил его несколько раз над головой Ишмаила, бормоча какие-то непонятные слова. После этого, обернувшись к Сосуну, он вздохнул облегченно, посмотрел на него дружески и ласково.

— Ну, теперь все в порядке,— сказал он мальчику и, протянув ему яйцо, мягко добавил: — Возьми это яйцо и отнеси в лес, отыщи дерево с дуплом и разбей об него. В яйце — зародыш живого существа. Пусть он будет жертвой за твоего отца.

Сказав это, знахарь быстро завязал узелок с инструментами и поспешно вышел из комнаты.

Человек мечтает, судьба смеется

...По широкому скошенному зеленому лугу, залитому солнцем, разбрелось стадо. Сельский пастух Ишмаил, опершись на длинную кизиловую палку с крючковатым концом, с улыбкой смотрит на край ясного синего неба, где отчетливо выступают зеленые кроны громадных вековых деревьев. Никогда еще жизнь не казалась такой ласковой и доброй к нему, как сейчас. Поэтому он мечтает. Но мечты это не пустые, несбыточные, а реальные, обнадеживающие. Оттого на лице его застыла задумчивая улыбка. Он улыбается своим мечтам, как добрым, приветливым друзьям.

Вот скоро, даст бог, придет наконец время: он навсегда бросит осточертевшую пастушью палку и станет владельцем собственной земли.

¹ ЧОХО — верхняя мужская одежда, черкеска.

Пусть это будет небольшой клочок, но зато свой. А своя земля, что ни говори, надежный кусок хлеба.

Ишмаил ненавидит работу пастуха, однако вынужден заниматься ею вот уже много лет. Еще в детстве он слышал о том, что быть пастухом — унизительно. Слово «нэхирчи» — пастух — звучало пренебрежительно, почти как оскорбление. Даже сами пастухи, стегнув в сердцах какое-нибудь непослушное животное, норовящее улизнуть из стада, нередко при этом ругали не только беспокойную скотину, а заодно и того, кто много лет жизни отдал своему безрадостному занятию.

В Нюгди пастухами обычно нанимались калеки или нищие, не имевшие ни земли, ни скотины. Сельчане считали зазорным для себя породниться с пастухом. Не каждый, даже самый бедный нюгдинец, согласился бы выдать за него свою дочь или сестру, словно это человек, опозоривший честь своей папахи. А папаху, если верить нюгдинцам, мужчина носит не от жары или стужи, а как символ мужской чести и достоинства. Хотя сами нюгдинцы не отличались ни веселым нравом, ни склонностью к забавам и шуткам, но в песне, которую они нередко распевали на свадьбах или просто к случаю, пастух изображался угрюмым, озлобленным и немного придурковатым человеком. В той песне отец говорит дочери, что хочет выдать ее замуж за пастуха. А дочь умоляет отца не губить ее молодую жизнь: пастух, мол, рано утром уйдет со стадом, а вернется домой лишь поздно вечером, мрачный и злой, да вместо того чтобы приласкать молодую жену, примется колотить ее своей палкой...

Может, такое неуважительное отношение к пастуху объяснялось тем, что односельчане Ишмаила главным и достойным здорового мужчины занятием считали только то, что связано с возделыванием земли: выращивание хлеба, риса, разведение садов? А может, еще и потому, что пастуха повсюду подстерегали неприятности. Каждый, у кого была корова в стаде, считал своим правом сделать ему выговор, обругать его. Пастух словно для того и существовал, чтобы угодать каждому, кто держит свою животину в стаде и за это платит ему мерку пшеницы. Одни ругали его за то, что он будто бы слишком рано выгоняет коров на пастбище, и хозяйки не успевают управиться с дойкой, другие — наоборот, считали, что он лодырничает, долго задерживает утром стадо в селе, и телята, чуя присутствие матерей, ведут себя беспокойно, мычат, надрываются, болеют. Если у коровы почему-либо стало меньше молока, хозяйка сразу же бежит к пастуху и принимается обзывать его самыми обидными словами, подозревая в нечестных поступках. Даже тот нюгдинец, которого и собственная жена перестала бояться, придирается к бедному пастуху, сам не зная зачем и почему.

Поэтому Ишмаил мечтал рано или поздно избавиться от этого неблагодарного занятия и стать хозяином маленького участка земли. Эта давняя мечта его, слава богу, теперь, как никогда, близка к осуществлению. Вот уже скоро год подпаском у него работает не чужой человек, а родной сын Сосун. Свой заработок ни с кем делить не придется. Часть зерна, которое он получит от владельцев коров после уборки хлеба, надо оставить для семьи на пропитание,

а остальное можно перемолоть на муку и затем продать ее в городе. Так года через два-три, бог даст, он накопит немного денег, а потом по сходной цене купит небольшой участок земли.

Ишмаил уже в мыслях видел себя хозяином этой земли, представлял, как он на телеге, доверху нагруженной тяжелыми золотистыми снопами, гордо въезжает в родное село...

Увлеченный своими думами, пастух не заметил, до чего же быстро сегодня пролетело время. Солнце уже опускалось за ближний лес. Он спохватился, когда случайно взглянул на свою тень, темной узкой полосой вытянувшуюся на лугу.

— Сосун! — окликнул размечтавшийся пастух сына, который в это время усердно лупил палкой двух упрямых бычков, выставивших рога для драки. — Собирай стадо, пора домой!

Вскоре сытое отяжелевшее стадо, поднимая по дороге тучи пыли, нестройно двинулось мимо созревающих пшеничных полей, залитых закатным солнцем, мимо огородов, сплошь покрытых буйными темно-зелеными плетями дынь и огурцов, мимо садов и виноградников.

У майдана уже собрались, с хворостинками в руках, женщины, ожидающие возвращения стада. Оглашая воздух разноголосым мычанием, подрагивая вздутыми боками, коровы быстро разбрелись в разные концы селения.

Распустив стадо, отец и сын направились домой. Сбросив с себя одеревеневшие чарыки и пропитанные пылью портянки, они стали умываться, готовясь к ужину.

Маленькая дочь пастуха Пери, привыкшая целыми днями оставаться дома одна, играла во дворе. Подражая взрослым нюгдинкам, она хло-

пала в ладоши и бойко бранилась, приговаривая: «Да лишится глаза тот, кто сглазил мою коровушку, да отсохнет селезенка у того, кто завидует моему добру!..»

Увлеченная игрой, девочка не заметила, как во двор вбежал мальчик лет десяти с живыми карими глазами на круглом курносом лице. Он хотел было направиться прямо в дом пастуха, но, увидев маленькую Пери за потешной игрой, остановился. Девочка сразу умолкла, заметив чужого мальчика, молча, с улыбкой наблюдавшего за ней. В смущении опустив кудрявую головку, она принялась водить босой ногой по голый земле. А чужой любопытный мальчик, продолжая глядеть в ее зардевшееся лицо, вдруг весело и звонко расхохотался.

— Клянусь папой, ты ругаешься и хлопаешь точь-в-точь, как старая бабка Эвшаг, — с откровенным восхищением на простодушном мальчишеском лице проговорил маленький гость. — Каждое утро на заре она взбирается на крышу своего дома, хлопает в ладоши и кричит на весь квартал.

— А почему она ругается? — поборов смущение, но все еще не глядя на словоохотливого мальчика, с любопытством спросила Пери.

— Она ругается потому, что кто-то по ночам у нее с крыши таскает сушеные сливы и абрикосы, — с готовностью пояснил мальчик, а потом, в сомнении пожав плечами, неуверенно добавил: — А может, никто у нее и не ворует вовсе, но она бранится. Я, например, клянусь папой, у нее никогда ничего не таскал.

— Почему же тогда она ругается? — несмело повторила Пери, по-прежнему не решаясь взглянуть на насмешливого мальчика.

— Знаешь, может, она ведьма, эта старая Эвшаг,— понизив голос, произнес он,— а ведьмы, говорят, бывают злые, поэтому они ругаются.

Вдруг, точно спохватившись, мальчик прервал свои объяснения, быстро заморгал глазами и на лице его появилась виноватая улыбка.

— Вай! Меня же послали сказать...— он запнулся, почесал за ухом, потом, стараясь казаться серьезным и важным, добавил: — Знаешь, иди скажи своему папе, что мой папа велел ему прийти к нему сейчас же, поняла? Мой папа — староста, а меня зовут Эсеф,— с видимой гордостью уточнил мальчик.

Девочка ничего не ответила, сразу же сорвалась с места и побежала в дом.

— Приходи на нашу улицу играть! — крикнул ей вслед Эсеф, уже не важным, а ласково-дружеским голосом, почему-то приподнявшись на цыпочки.

Пери на минуту задержалась у двери, обернулась к гостю и, прежде чем юркнуть в комнату, как мышонок в норку, крикнула ему в ответ:

— Я с мальчишками не играю...

Не прошло и четверти часа, как пастух Ишмаил уже стоял на улице у ворот старосты, с покорным, но совершенно спокойным видом слушая Гомуила. Оказывается, его корова по кличке Джейран не вернулась со стадом.

— Она самая дойная из всех моих тридцати коров,— с видимым беспокойством говорил староста.— Джейран одна стоит десяти коров. Знай, если она не найдется, мира между нами не будет,— мягко, но внушительно пригрозил он пастуху.

Ишмаил не придавал значения этой угрозе. Нередко бывали случаи, когда чья-нибудь корова, отбившись от стада, забиралась на полянку с вкусной травой или в густые заросли и задерживалась там. Когда становилось темно, она, едва заслышав тоскливый вой шакалов или подозрительный шорох, сама спешила в селение. Иногда заблудившуюся корову разыскивали и приводили обратно. Поэтому Ишмаил не стал тратить время на то, чтобы успокоить преждевременно разволновавшегося хозяина. Он сразу отправился на поиски в полной уверенности, что через час-два найдет пропавшую скотину и пригонит в село.

Но вернулся он домой поздней ночью, без коровы. Ишмаил обошел все поля и луга, по которым бродил сегодня со стадом, забирался в глухие лесные чащи, спускался в темные овраги, лазил по камышовым зарослям, — но пропавшую корову так нигде и не встретил.

Несколько дней пастух, оставляя стадо на попечение сына, ходил по лесам и полям в поисках Джейран. Он спрашивал о ней всякого встречного, описывая ее приметы, но все без толку: корова как сквозь землю провалилась.

Пастух за эти дни вконец изодрал последнюю одежонку, износил до дыр чарыки, похудел, осунулся, лишился сна и покоя.

Староста, окончательно потеряв терпение, стал грозить пастуху судом, клялся, что не заплатит ему ни одной мерки пшеницы за пастьбу своих коров.

На восьмой день после пропажи коровы начальник Уллусийского участка в селении Кулларе, находящемся в четырех-пяти верстах от Нюгди, вызвал Ишмаила на допрос, и больше

он оттуда не вернулся. По селу прошел слух, что пастуха посадили в тюрьму за кражу коровы.

А спустя несколько дней после ареста Ишмаила Гомуил, пользуясь своим положением старосты, запретил Сосуну пасти общинный скот.

Неизвестно, сколько еще пастуху пришлось бы томиться в тюрьме, если бы неожиданно не объявилась пропавшая Джейран. Произошло это в первых числах апреля. День был праздничный, и все сельчане находились дома. Седобородые старики сидели у старых токов на мягкой траве, греясь на солнце и мирно беседуя между собой. На почтительном расстоянии от аксакалов молодежь шумно играла в чехарду. Женщины, собравшись у своих дворов, лузгали семечки, громко разговаривали, перебивая друг друга. Вдруг на окраине села, там, где начинались сады, раздалось протяжное мычание коровы. Вскоре, точно из-под земли, выросла пятнистая Джейран. Она бежала во весь опор, словно спасаясь от преследования. Оказавшись в селе, корова внезапно остановилась, задрала голову, внимательно осмотрелась по сторонам, будто желая убедиться: туда ли она попала, куда так спешила, и с радостным громким мычанием помчалась мимо удивленных людей.

Неожиданное появление коровы Гомуила обрадовало земляков пастуха. Прошел почти год, как Ишмаил был заключен в тюрьму. Сельчане узнали недавно, что он в неволе тяжело заболел. Дети его, оставшиеся без кормильца, страшно бедствовали. Они жили на то, что давали сердобольные соседи. Теперь все убедились: пастух ни в чем не виноват. Было решено

всем джамаатом¹ написать прошение окружному начальству, которое находилось в Касумкенте, чтобы его оправдали и отпустили домой.

...Однажды под вечер собравшиеся на майдане пюгдинцы увидели приближающегося к ним высокого, худого и чуть сгорбленного человека.

— О-о! Да это никак Ишмаил, мой дорогой сосед! — радостно воскликнул невысокий плотный пюгдинец Рахмон, первым узнав в нем пастуха, и бросился ему навстречу.

Как только Ишмаил подошел к сельчанам, они тотчас же окружили его и радостно приветствовали:

— С приездом, дорогой!..

— Чтоб тебе век жилось на радость твоим детям!

— Да минуют тебя все беды и невзгоды!

Ишмаил, растроганный и взволнованный, пожимал дружески протянутые руки, добрым словом выражая каждому свою благодарность.

— Теперь скажи, как жилось тебе в этой проклятой тюрьме? — выступив вперед, спросил его старый Шелбет.

— Э-э-э! — недовольно покосился на него Рахмон. — Разве по нему не видно, что жилось бедному не лучше, чем грешному в аду. Дай бог старосте такую жизнь.

Только сейчас односельчане заметили, как изменился Ишмаил за те одиннадцать с лишним месяцев, что провел в тюрьме. Лицо его вытянулось, заострилось, лоб и щеки прорезали морщины. Глубоко запали, потухли карие глаза. Седина посеребрила поредевшую бороду.

¹ Д ж а м а а т — мир, сход.

Ишмаила покачивало: он через силу держался на ногах.

Как ни велика была радость встречи с односельчанами, ему не терпелось скорее увидеть своих детей. И, скоро попрощавшись, он поспешил домой.

Сердце Ишмаила учащенно забилося, когда он приблизился к своему дому. Прежде чем толкнуть калитку, он немного постоял, чтобы побороть волнение. Ишмаил хотел еще с порога бодро окликнуть детей, но голос его осекся и прозвучал как сдавленное рыдание. Сосун и Пери с радостными криками бросились к отцу на шею. Он, задыхаясь от волнения, обнимал своих детей, прижимал к груди, осыпал поцелуями, с болью всматриваясь в их землистые, изможденные лица.

— Бедные мои дети, маленькие мои страдалцы! — проговорил он дрожащим голосом.

На другой день Ишмаил проснулся рано. Его разбудил чей-то приглушенный плач и сердитый шепот. Сначала ему показалось, что он все еще находится в тюремной камере, усталый и измученный постоянным недомоганием. Открыв глаза и вспомнив, что он дома, Ишмаил внезапно ощутил острую радость. Закрыв глаза, он стал прислушиваться.

— Хлеба хочу, хоть корочку... — тихо хныкала маленькая Пери.

— Замолчи, сатана, откуда я возьму тебе сейчас хлеб?! — говорил Сосун. — Разбудишь отца!.. Потерпи немного, сбегая в лес, паберу грибов, нарву тары¹, сварю похлебку, — не умрешь!

¹ Тара — съедобная трава, из которой варят похлебку

Но уговоры брата не действовали на голодную девочку. Из стесненной груди Ишмаила вырвался вздох, похожий на стон от внезапной боли. Сосун сурово посмотрел на мигом умолкнувшую сестру.

Ишмаил, кряхтя и вздыхая, приподнялся на постели, сел, горестно опустив голову. Потом он посмотрел на сына и сказал тихо, еле слышно:

— Сосун, зайди к Рахмону, попроси у него топор. Мы пойдем с тобой в лес. Нарубим веток, обрядишь меня гудилом и станешь водить по селу. С неделю проживем на то, что подадут, а там, бог милостив...

Сосуну было тяжело слышать эти слова. Мальчик знал, что обычно гудилом обряжаются нищие, которые не стесняются просить милостыню, или же озорные юноши, потехи ради.

— Обойдемся как-нибудь, не надо,— попытался он отговорить отца.

— Надо, надо, сынок, другого выхода нет у нас,— с трудом поднимаясь с постели, ответил Ишмаил.

После неприятной встречи с гудилом на майдане, староста Гомуил вернулся домой взволнованный и очень раздраженный. Его бесило то, что какой-то пастух, нищий, осмелился пригрозить ему, нанести оскорбление, с презрением швырнув на землю его деньги. Староста привык к тому, что никто в селе не смел ему перечить, и вдруг — такая пощечина. И как только его рука, в тот момент невольно схватившаяся за кинжал, не вырвала его из ножен и не нанесла обидчику удар!.. Сидя дома на

двух подушках, он как бы заново переживал все случившееся и жаждал мести.

— Проклятый Илогу! Это он во всем виноват! — в сердцах произнес Гомуил.

Вспомнив о своем чауше, староста в бессильной злобе принялся ругать и поносить его, призывая тысячи напастей и проклятий на его голову. Поэтому, когда несколько минут спустя к нему пришел ничего не подозревавший Илогу, насквозь промокший под дождем, староста, багровея от злости, устремив на чауша свирепый взгляд, вместо ответа па приветствие, обрушился на него с бранью и упреками:

— Скажи, негодяй, как ты мог так обмануть меня?! Не ты ли клялся провернуть это дело так, что, кроме нас с тобой, ни одна душа ни о чем знать не будет?! Теперь по твоей милости все на селе шушукаются, перешептываются за моей спиной, провожают меня косыми взглядами. А еще этот голодранец Ишмаил вот только что...

Староста, шумно вздыхая, прервал свою речь, нервным движением сунул руку в боковой карман атласного бешмета, вынул оттуда кальян и кисет с табаком. Илогу, улучив момент, быстро достал кресало с кремнем, торопливо выбил искру и зажег сушеный мох. Угодливо опустившись перед старостой на корточки, он с почтительным видом положил дымящийся, приятно пахнущий мох в набитый табаком кальян Гомуила.

— Я, клянусь богом, тебя не обманывал, все делал как надо, ты об этом знаешь. Но если вышло не так, как нами было задумано, я не виноват, — сделав страдальческое лицо, плачущим голосом произнес Илогу.

...Случай, на который намекал Илогу, произошел почти год назад. Как-то весенним вечером староста сидел дома и сосредоточенно стучал костяшками на счетах. Он прикидывал, во что ему обойдется новая водяная мельница. От нее он рассчитывал получить немалый доход, и все же было жалко денег.

— А что, если я пастуху Ишмаилу дам не шестьдесят мер пшеницы, которые ему причитаются, а?.. — Гомуил вопросительно уставился на своего чауша, который сидел напротив него и любопытными глазами следил за движениями волосатых пальцев, перебирающих костяшки на счетах.

Безмерная алчность старосты даже у Илогу, не отличавшегося добропорядочностью, вызывала отвращение. Но он, чувствуя свою зависимость от Гомуила, всячески угодничал перед ним.

— Да, ты прав: шестьдесят мер пшеницы жирно будет для этого авдала¹, — с готовностью поддакнул старосте Илогу. Он немного помолчал, словно обдумывая что-то, затем, подавшись вперед и вытянув короткую шею, заговорил тихо и доверительно, хитро прищурив глаз: — Если ты согласишься, можно устроить так, что пастух не получит ни одной мерки пшеницы.

Гомуил, откинувшись к стене, завешенной большим разноцветным ковром, невольно засмеялся, недоверчиво глядя на своего подчиненного.

— Тебе, я вижу, хочется пошутить?..

— Какие шутки? — с серьезным видом произнес Илогу. — И это можно сделать очень про-

¹ Авдал — нищий бродяга, оборванец.

сто. Вот послушай. Надо тайком от пастуха вывести из стада одну из тридцати твоих коров, угнать ее в какое-нибудь дальнее селение и продать там. А потом, когда обнаружится пропажа, обвинить Ишмаила в краже.— Илогу, не сводя испытующего взгляда своих зеленоватых кошачьих глаз с лица старосты, которое сразу приняло озабоченное выражение, самодовольно и весело добавил: — Это же сущий пустяк по сравнению с тем дельцем, которое мы с тобой однажды обтяпали на берегу Григоринчая... Помнишь?..

Что-то дрогнуло в лице Гомуила. Он резко наклонился вперед и, недовольно окинув взглядом приземистую фигуру своего чауша, оборвал его на полуслове:

— Замолчи ты, безумный!..— И с нескрываемой тревогой скосив глаза на прикрытую дверь соседней комнаты, глухо добавил:— Там же жена, услышит!.. Тоже, нашел время вспоминать!

Но через минуту Гомуил успокоился и, как ни в чем не бывало глядя на Илогу, ободряюще улыбнулся ему:

— А насчет коровы, клянусь богом, ты неплохо придумал.

От похвалы хозяина рыжий чауш расплылся в самодовольной ухмылке.

И вот в тот самый летний день, когда пастух Ишмаил, пустив коров на широкий скошенный луг и опершись на свою кизилковую палку, видел себя в мечтах хозяином собственного поля, чауш, оглядываясь по сторонам, осторожно, как зверь, подстерегающий добычу, подкрадывался к стаду. Когда одна из коров старосты, пятнистая Джейран, пощипывая траву, подо-

шла к густым камышовым зарослям на краю луга, Илогу, накинув веревку, заарканил ее, как заправский копокрад, и потащил в камыши.

...Неожиданное появление Джейран, которая спустя много месяцев сбежала от своего нового хозяина, не только спутало расчеты Гомуила, но и вызвало у него серьезное беспокойство. Оба сообщника сидели сейчас вдвоем и ломали голову, как выпутаться из этого весьма неприятного для них положения.

— Ладно, давай теперь решим, что нам делать,— примирительно проговорил Гомуил, но тут же, строго посмотрев на собеседника, угрожающе добавил: — Если твоя проделка с коровой станет известна, я — ничего не знаю, отвечать будешь ты, только ты!

Он откинулся спиной к ковру и сделал несколько глубоких затяжек, испытующе и выжидательно глядя сквозь табачный дым на угрюмо молчавшего чауша.

— Я многим обязан тебе,— со смиренным видом и внешним спокойствием проговорил Илогу и, преданно заглядывая в его глаза, добавил: — Ты можешь положиться на меня: если надо, я готов все взять на себя, и не только... ты знаешь.

Первый раз за время разговора Гомуил улыбнулся, ласково посмотрев на своего верного чауша.

— Да ты особенно не сокрушайся,— вкрадчиво сказал он.— Есть выход. Говорят, пастух очень болен. Если это так, то надо ему, пока еще не поздно, пустить кровь...

На лице Илогу выразилось недоумение:

— Но как же... я пускаю кровь, чтобы изгнать из тела болезнь, нечистую силу?

— Верно, но не забывай, что душа человека блуждает в его крови.

— Ну и что из этого? — усмехнулся чауш. Староста хмуро посмотрел на него:

— Недаром же говорится: «Умному — на-мек, глупому — объяснение», — сердито произнес он, покачав головой, и тихо, почти шепотом, добавил: — Если пустить больному больше крови, чем надо, то вместе с нечистой силой можно изгнать из тела и его душу...

На какое-то время Илогу впился в Гомуила застывшими глазами, пораженный не столько жестокостью, сколько простотой его коварной выдумки. Потом, не произнеся ни слова, он резко распахнул дверь и выбежал на улицу под шумный проливной дождь.

Человек с того света

К вечеру состояние больного резко ухудшилось. Временами он впадал в беспамятство и не узнавал людей, приходивших навестить его.

Сосед Ишмаила Рахмон всю ночь, не смыкая глаз, провел у изголовья больного, стараясь хоть сколько-нибудь облегчить его страдания. Холодный пот заливал еще более осунувшееся после кровопускания почерневшее лицо пастуха. Неестественно блестящие глаза смотрели бессмысленно, в груди хрипело и клокотало. Он задыхался и беспокойно метался на постели.

Обычно веселый, жизнерадостный, Рахмон сейчас, глядя на соседа, бьющегося из последних сил в когтях смерти, на его испуганных детей, украдкой утирал невольные слезы.

Рахмону едва минуло тридцать лет, а он

уже был дедушкой. Нюгдинцы обычно рано женили своих детей, словно боясь, что или родители, или сами дети не успеют дожить до этого счастливого события. Мальчика в четырнадцать лет уже считали женихом, мужчиной, а девушку в возрасте двенадцати — тринадцати лет передко выдавали замуж.

Самого Рахмона женили, когда ему шел пятнадцатый год. В прошлом году он выдал замуж свою тринадцатилетнюю дочку, и та недавно стала матерью. Жена его, Майрам, маленькая, смуглая, худенькая женщина с бледным измученным лицом и заостренными скулами, рожала чуть ли не каждый год. Про нее говорили в селе, что она вечно беременная. Такая чрезмерная плодовитость жены не па шутку огорчала мужа. Иногда, глядя па жену и тяжело вздыхая, Рахмон говорил ей с горькой усмешкой:

— Эх, корова из тебя вышла бы на зависть всему свету, а как жена, ты — божья кара для бедняка.

— Ах, не гневи бога, Рахмон, прошу тебя, — страдающим голосом умоляла его Майрам, которая и сама была не рада, что так часто рождает. — Ведь это он, всевышний, дает нам детей, то ли за нашу доброту, то ли за наши грехи.

— Если бог добр к нам, почему же наша едипственная корова часто остается яловой, из-за этого у пас в доме ни молока, ни сыра, а ты рождаешь каждый год, — не унимался Рахмон.

Суеверная жена, боясь, как бы жалобы и упреки педержанного на язык мужа не разгневали грозного всемогущего бога, и он не наслал бы за это па них новые беды, каждый раз слезно умоляла Рахмона не сетовать на судьбу.

Но Рахмон, хотя был обременен большой семьей и, как большинство его односельчан, жил в бедности, никогда не унывал. Он любил шутить, балагурить, хорошо играл на зурне, а иногда и сочинял песни. За эти «пустые затеи» степенные крестьяне считали его чудаком и пустомелей.

Но этот человек обладал добрым и отзывчивым сердцем. Вот сегодня, после тяжелой работы в поле, он, несмотря на усталость, сидел у больного соседа: то вытирал полотенцем пот, заливавший ему лицо, то, обхватив руками, крепко держал, когда тот в бредовой горячке пытался вскочить с постели.

После полуночи Ишмаил, уже совершенно обессиленный, лежал неподвижно. Глаза его потеряли прежний неестественный блеск и затянулись мутной пеленой. Дыхание стало тяжелым, из груди вырывался лишь слабый хрип. Жизнь едва тлела в нем, как угасающие угольки под остывшей золой.

Когда в разных концах села пропели петухи, возвещаая о близком рассвете, больной судорожно вздрогнул, вытянулся и больше не шевелился.

Утром тело покойного обмыли, зашили в саван, купленный в лавке старосты на гроши, собранные у сельчан, положили на посылки и быстро понесли на кладбище. Саван был, пожалуй, единственной обновкой, которую впервые за долгое время видели на пастухе.

Предав тело земле, нюгдинцы собрались на краю кладбища, у ручейка, заросшего темно-зеленой осокой. Наскоро умывшись, они застыли в молитвенных позах.

Один из пожилых мужчин, худой высокий

человек с курчавой квадратной бородой ассирийского царя — раби¹ Шафад, поманил к себе сына покойного.

— Сын мой, повторяй дословно то, что я сейчас буду говорить тебе, — сказал он мальчику и звучным внушительным голосом, отчеканивая каждое слово, начал: — Я — родной сын своего отца, кровь от крови и плоть от плоти его, заявляю перед лицом всего джамаата, что, кроме меня, у моего отца нет сына.

Когда Сосун, сдерживая рыдания, вслед за раби произнес эти слова при суровом молчании односельчан, тот, придав своему звучному голосу грозные и торжественные нотки, продолжал:

— Если кто-нибудь под моим именем и обликом явится к моему отцу и будет тревожить его покой, пусть того постигнет божья кара и проклятие народа! Аминь!

Сосун слово в слово повторил все, что говорил раби. Нюгдинцы вслед за ними в один голос воскликнули «аминь» и во главе со своим духовным пастырем поспешно покинули кладбище.

Вечером в осиротевший дом пастуха пришли односельчане и односельчанки, чтобы почтить память усопшего, разделить горе его детей. Лица мужчин, при колеблющемся свете дымящейся коптилки, были задумчивы и торжественно-печальны. Набив кальяны табаком, они повели тихую беседу. Речь, как принято в таких случаях, зашла о покойном, о том, какой он был добрый, честный человек, заботливый отец. Вспоминая его достоинства, сельчане говорили, что не произойди этот нелепый случай с пропа-

¹ Раби — служитель культа.

жей злополучной коровы, не проводи Ишмаил почти целый год в тюрьме, он бы жил до старости и растил своих детей. Потом разговор незаметно перешел на старосту. Собравшиеся дали выход давно копившейся обиде.

— Теперь нам и повернуться негде, — с горечью проговорил Офдум — мужчина лет тридцати пяти с большими черными усами на бритом лице. В селе его в шутку прозвали Офдум Четверть Быка, так как он и три других нюгдинца сообща владели одним-единственным рабочим быком. — Сейчас куда ни ступишь, чуть ли не везде натыкаешься на владения старосты, пропади он пропадом. Мало ему своего добра, так он еще наши общинные луга и леса начинает прибирать к рукам. Скоро он потребует, чтобы мы платили ему и за выпас, и за лес.

— Да, к этому дело идет, — поддержал Офдума сидевший рядом с ним маленький пожилой мужчина с густой проседью в пышной бороде. Одет он был в старый бешмет, подпоясанный красным кушаком. Этот человек, по имени Одом, имел четырех дочерей, но сыновей у него не было, поэтому он считался хьомолом — «несчастливым бездетным». Чтобы всевышний обратил на него внимание и послал ему сына, старик носил, как полагалось по обычаю, красный «кушак бездетности». В комнате было жарко, натоплено, но Одом сидел в шубе, накинутой на худые плечи: уже много лет его мучила лихорадка.

— И без того сколько разных поборов: царю плати подушный налог — раз, — старик заломил палец на левой руке, — хозяину за аренду земли — два, старосте за то, что верховодит нами — три, раби за то, что молится о нас —

четыре, знахарю за то, что пускает кровь и бреет — пять...

— Да будет счастливым твой конец¹, дядя Одом, зря стараешься, все равно пальцев на руках не хватит считать, — перебил его Рахмон и, уже обращаясь ко всем, добавил с хитрой усмешкой: — Чем вести бесполезный счет, кто сколько с нас шкур сдирает, давайте лучше я расскажу вам, как наш староста ездит к самому губернатору и выпрашивает у него купчую на общинные земли и леса, наивные вы глупцы!..

Рахмон обвел сидящих своими лукаво-насмешливыми глазами. Его слова у одних вызвали недоверчивые улыбки: знаем, мол, тебя, шута и пустомелю, а у других — откровенное любопытство. И те и другие приготовились слушать его со вниманием. И Рахмон начал говорить сельчанам о губернаторе, о его привычках, вкусах, торжественных выездах и семейных делах с такой осведомленностью, точно он сам не раз проводил время в его обществе.

По словам рассказчика, губернатор живет в роскошном мраморном дворце в Темир-Хан-Шуре, все равно как падишах. И сам он будто приходится царю не чужим, а родным племянником, чуть ли не наследником, так как царь не имеет сына, у него одни дочери. Но русский падишах вместо «кушака бездетности» носит голубую шелковую ленту через всю грудь. Если Николай умрет хьомолом, то губернатор займет его трон, как законный наследник. Поэтому он держится очень важно, словно напыщенный индюк. И каждый, кто идет к нему, будь то по

¹ Обычно такими словами обращались к мужчине-хьомолу, не имеющему сына.

делу или просто из желания лицезреть его высокую особу, должен, согласно обычаю, поднести ему, как пишкеш, полную четверть монопольной водки и свиную голову.

— Губернатор и его жена, которую зовут Каспожой,— рассказывал Рахмон,— от чрезмерного употребления крепкой монопольной водки и свинины раздулись как бочки, лопаются от жира. Их возят на арбе, запряженной четверкой здоровенных рысаков.

Рахмон, польщенный вниманием слушателей, все больше воодушевляясь, принялся далее, не жалея красок, описывать характер и поведение Каспожи-губернаторши.

— На виду у всех она ходит почти раздетая, с открытой белой грудью и широкой голой спиной,— уверенно продолжал Рахмон.— Каспожа позволяет всякому мужчине целовать ее руку при муже и без него, а нередко на виду у губернатора даже танцует в обнимку с офицерами...

Мужчины весело смеялись, а женщины в ужасе от услышанного, неодобрительно цокая языком, осуждающе покачивали головами.

— Вай аман!.. Как же ее муж, этот самый губернатор, терпит такое: не отрубит кинжалом ей голову или не прогонит вон?.. Где же его намус? ¹ Зачем он тогда носит папаху? — удивленно воскликнула повитуха Эвшаг, пожилая женщина с полным круглым лицом и крашенными хной волосами.

— У них обычай такой,— с видом знатока, заявил Рахмон.— Да и посит губернатор на голове, скажу тебе, Эвшаг, не папаху, как паши мужчины, а фўражку.

¹ Намус — честь.

— Неужели и Гомуил возит губернатору свиную голову? — возмутился старик Шелбет и брезгливо поморщился. — Да как же ему не противно прикасаться к свинье, как он осмеливается нарушать святыне законы наших отцов?

— Если хочешь знать, дядя Шелбет, наш староста сам не прочь откусывать вместе с губернатором и Каспожой от свиной головы, только бы ему прирезали лишнее место нашей общинной земли, — зло усмехнувшись, произнес Рахмон.

— Вай! Хватит!.. — запротестовала одна из женщин, прикрыв ладонью рот.

— Клянусь богом, пошел бы я к губернатору с жалобой на нашего старосту, но как вспомню, что ему надо нести пшкеш — свиную голову, дрожь меня пробирает, — с возмущением проговорил старый Шелбет.

В разгар беседы в комнату вошли Гомуил и раби Шафад. Все поднялись с места и продолжали стоять, пока они не прошли в глубь комнаты и не уселись между пожилыми мужчинами. Собравшиеся, соблюдая приличие, почтительно молчали, ожидая, когда первым заговорит раби.

Некоторое время он сидел молча, опустив голову и медленно водил ладонью по длинной, в колечках, седеющей бороде. Присутствующие догадывались, что раби Шафад сейчас мысленно подыскивает тему для душевспасительной беседы, и терпеливо смотрели в его сторону. Будучи людьми религиозными и очень суеверными, они с доверием и почтением относились к своему духовному пастырю, хотя многие и осуждали его за дружбу со старостой.

Раби начал говорить о том, что душа чело-

века после его смерти, отделившись от брэнного тела, предстаёт перед божьим престолом на небесах. И там в присутствии ангелов бог взвешивает на чашах весов все добрые и злые дела покойного, затем решает, куда поместить его душу: или в райские сады, находящиеся на седьмом небе, — и тогда ее ожидает вечное блаженство, или в подземный ад, где она будет гореть в геенне огненной...

Раби Шафад говорил о врожденных дурных наклонностях человека, легко поддающегося соблазнам, злым и губительным страстям. Чтобы хранить душу в чистоте, надо, говорил он, обуздать плотские желания и за мирской суетой не забывать о боге, прощать обиды, не завидовать ближнему...

Гомуил, сидевший рядом с раби, делал вид, будто все, что он говорит, его, как человека набожного, глубоко трогает. А нюгдинцы слушали своего красноречивого проповедника с искренней верой и почтительным страхом перед всемогущим господом.

Когда раби закончил проповедь, на некоторое время в комнате воцарилась глубокая тишина. Первой нарушила ее любопытная Эвшаг, сидевшая с остальными женщинами в нижней половине комнаты, отдельно от мужчин.

— Прости, раби,— тихо и боязливо произнесла она, скромно прикрывая рот краем черного платка,— вот когда покойный Шемей, да простит нам бог, что произносим его грешное имя, приходил к нам с того света, его душа была с ним?

Вопрос старой Эвшаг насторожил всех. Присутствующие с выражением любопытства и некоторого замешательства уставились на раби.

У каждого из сидящих здесь был еще свеж в памяти тот случай, о котором говорила Эвшаг.

...Лет десять назад нюгдинцы похоронили своего односельчанина Шемей. Это был высокий, крутоплечий мужчина лет сорока, удивлявший всех своей недюжинной силой. Работая на току, Шемей без особых усилий поднимал с земли тяжелые мешки с зерном и легко, точно поленья, закидывал их в арбу. А если случалось, что лошадь не могла вытянуть повозку, застрявшую в липкой грязи или на ухабе, то он сам впрягался в оглобли и вытаскивал ее.

Как-то раз Шемей отправился в лес заготавливать уголь. К вечеру односельчане, возвращавшиеся домой, нашли его в лесу безжизненно лежащим у дороги возле большой кучи дымящегося угля. Шемей на руках принесли домой, обливали холодной водой, дергали за бороду, кололи шилом пятки, хлестали по щекам, но он не приходил в себя. Тогда наконец старейшины решили, что дело тут вовсе не в угаре: видимо, когда Шемей спал в лесу, ангел смерти Азраил, спешивший в это время за чьей-то душой, случайно наткнулся на него и забрал его душу вместо той, за которой шел. Поэтому они распорядились немедленно предать тело Шемей земле, как того требует обычай.

На следующее утро всем джамаатом похоронили Шемей. Нюгдинцы то ли по издавна устоявшемуся у них порядку, то ли потому, что за оврагом, где раскинулось кладбище, почвенные воды были близко, обычно рыли неглубокие могилы — в полчеренка лопаты глубиной. Сверху яму закладывали толстыми сучьями, покрывали ветками, сухой соломой, а затем засыпали свежей землей.

Лунной ночью, когда селение было погружено в сонное безмолвие и лишь время от времени далеко раздавались в застывшей тишине хриплые, похожие на протяжные стоны, крики петухов и лай собак, потревоженных тоскливым завыванием шакалов в окрестных садах и ближних лесах, какой-то человек, огромного роста, совершенно голый, преследуемый целой стаей пейстово лающих псов, вбежал во двор, откуда накапупе вынесли покойника, и постучал в дверь.

— Кто там? — послышался хриловатый голос вдовы покойного.

— Это я, Шемей, открой скорее! — ответил голый человек, нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу.

Жена сразу узнала родной голос. Но вместо того, чтобы отшвырнуть засов, распахнуть дверь и кинуться на шею чудом воскресшему мужу, кричать на все село о своей радости, она пришла в ужас. Бедная женщина решила, что к ней стучится не сам Шемей, а его душа, мучущаяся после расставания с телом, или же это дьявол принял образ мужа.

— Вернись в свою обитель, дорогой, успокойся, — принялась умолять Шемея жена, трепеща от страха.

Но тот, потеряв терпение, стал ломиться в дверь, крича на весь двор:

— Клянусь могилой своего отца, если ты сейчас же не откроешь мне дверь, я пересчитаю твои ребра, дочь хромой Божии!..

Шемей всегда так грозил жене, если почему-либо сердился на нее. Но она, боясь, что мертвец вот-вот ворвется в дом, подняла дикий вой.

Разбуженные среди ночи криками жены Шеменя, неутихающим лаем собак, соседи, а вслед за ними и другие сельчане, сбежались во двор. Неожиданная встреча с усопшим ошеломила и сбила всех с толку, вызвав страх и замешательство. А Шемей, увидев родные и знакомые лица, перестал ломиться в дверь. Шатаясь, как пьяный, он вышел на середину двора и, прикрыв рукой паготу, закатился долгим истерическим смехом.

— О, джамаат, смотрите, что творится на белом свете: жена усыпила меня и похоронила как покойника, а теперь боится пускать домой, потому что она прячет там своего ошне¹. — Он внезапно умолк, потом, обращаясь ко всем умоляющим голосом, заговорил опять: — Ради бога, помогите мне войти в мой дом, обнять моих детей.

Сельчане, оцепенев, продолжали глядеть на Шеменя в немом ужасе. Все то, что видели сейчас нюгдинцы, было непостижимо для них. Они знали — умершие не воскресают, но твердо верили, что иногда дьявол может принять облик покойного и явиться в село, чтобы покалечить скот, повредить посевы, напустить на людей мор...

— Чего стоите, как истуканы! — крикнул Гомуил, с трудом пытаясь унять дрожь, охватившую его при виде мертвеца. — Это не Шемей, а дьявол в его образе! Убейте его!..

Услышав грозный призыв старосты расправиться с ним, Шемей сначала опешил, потом, от сильного волнения забыв, что он голый, протестуяще взмахнул руками и с возмущением крикнул:

¹ О ш п с — любовник.

— Староста! Побойся бога, почему ты толкаешь людей на грех?! Почему они должны убить меня?! Разве вы не видите, что я не дьявол, а ваш одпосельчанин Шемей?!

Едва он произнес эти слова, как тут же почувствовал тупой удар в бок. Шемей вскрикнул от боли, зашатался, но удержался на ногах. Увидев искаженное лицо старика Шелбета, стоявшего перед ним с тяжелым колом в руке, он отпрянул:

— Шелбет, отец мой, не бей меня!.. Что я сделал плохого вам? Почему вы меня хотите снова загнать в могилу?!

— Если ты Шемей, то где саван, в котором мы хоронили тебя сегодня? Разве Шемей показался бы в селе с открытым срамом? — выкрикнул кто-то из толпы.

Голый человек, вытянув шею, сделал несколько шагов вперед, чтобы узнать, кто это говорит, но заметив, как сгрудившиеся одпосельчане всполошились, в испуге подались назад, сразу остановился.

— Да вы не бойтесь меня! — с обидой и насмешкой в голосе проговорил он. — Саван я разорвал и сбросил по дороге, а то эти проклятые собаки мне проходу не давали, чуть не загрызли. — Он пагнуллся и показал рукой на свои искусанные ноги. — А голого, сами знаете, собака не кусает.

Слова Шемея на минуту заставили их поверить в то, что перед ними действительно их одпосельчанин, а не какой-то оборотень. Но вновь раздавшийся голос Гомуила, который больше всех боялся, как бы дьявол не погубил его скот и посевы, поколебал их уверенность:

— Не дайте бесу попутать себя! Беда обру-

пийтесь на ваши головы! Прогопите дьявола или убейте его!..

Мгновенно в чьей-то руке блеснул кинжал и с размаху опустился на большую бритую голову Шеменя. Он с протяжным воплем обхватил голову обеими руками и, обливаясь кровью, стал метаться по двору, стараясь вырваться из людского кольца, но та же неумолимая рука настигла его. От второго удара Шемей застонал, отпрянул назад и плашмя упал на землю. И тут в толпу возбужденных нюгдинцев ворвались Рахмон и пастух Ишмаил, громко, перебывая друг друга, закричали:

— Это — Шемей!

— Не трогайте его!..

— Вот его саван!

— Могила его открыта! Своими глазами видели!

— Не берите греха на душу!..

Но было уже поздно. Шемей лежал на спине, вытянувшись во весь богатырский рост, разметав руки в стороны, с рассеченной головой и зияющей раной на груди. Глаза его были открыты. Они с немым криком смотрели на мерцающие звезды, словно призывая их в свидетели дикой расправы над ним в чем не повинным человеком.

На следующий день Шеменя хоронили вторично, на этот раз на склоне небольшого холма, за кладбищем. Раби даже запретил родственникам поставить надгробный памятник, а сельчанам — упоминать об умершем. Могила постепенно заросла терновником и колючими кустами ежевики, навсегда укрывшись от глаз.

Но то страшное почное происшествие продолжало жить в памяти людей, будоражить во-

ображение суеверных нюгдинцев, вызывая самые разнообразные толки и догадки.

И когда в этот вечер о нем снова вспомнили, раби, задумчиво оглаживая свою окладистую бороду, произнес с сомнением в голосе:

— Трудно судить: был ли то Шемей или дьявол в его образе. Если даже Шемей, то он вернулся с того света не по велению бога или ангела, а по наущению дьявола, потому что ни один мертвый не воскреснет, пока не наступит день Страшного суда над живыми и мертвыми...

Сын покойного Ишмаила сидел рядом с Рахмоном, подавленный и растерянный, с недоумением и страхом прислушиваясь к разговору старших. То, что он пережил сегодня и услышал сейчас, казалось ему каким-то тяжелым, запутанным сном, полным ужасов и гнетущей тоски.

«Пирамиды фараона»

Лето было в разгаре, июльское солнце обливало землю горячим зноем. Травы давно выгорели, пожелтели хлеба, и когда налетал свежий ветерок, тугие колосья, ударяясь друг о друга, тихо звенели. Дрожащий воздух дышал жаром, обжигал лицо. Кое-где уже начинали осыпаться хлеба и крестьяне спешили с уборкой.

Свободную землю вокруг села заранее очистили, разровняли и утрамбовали, превратив в тока. Когда почти вся пшеница была скошена и вывезена в село, у токов неровными желтыми холмами выросли скирды. С утра до вечера

под палящим солнцем кипела работа: одни длинными кнутами гоняли по кругу мокрых от пота лошадей, тянувших по раскинутым снопам молотильные доски, другие деревянными вилами сгребали мякину, третьи сушили зерно и ссыпали его в чучвалы.

Для Гомуила подготовили сразу несколько токов, соединив их как бы в один большой ток. Словно горы, возвышались возле него желтые скирды. Сельчане между собой называли их «пирамидами фараона». Об этих гигантских сооружениях они слышали от раби и представляли их себе похожими на огромные скирды пшеницы. Но в название крестьяне вкладывали и свое отношение к старосте, сравнивая его с библейскими фараонами, на крови и костях невольников построившими знаменитые усыпальницы.

В эти страдные дни на Гомуила работало много батраков, пачиная с престарелого Шелбета и кончая подростком Сосуном. Его тока и вечером были самым оживленным местом. Когда наступали первые сумерки и прохлада, и с ними прекращалась работа, почти всё мужское население стекалось сюда. Детям нравилось играть среди «пирамид» в прятки, а взрослым тока Гомуила на время обмолота заменили майдан. Они шли сюда, чтобы после жаркого трудового дня, передохнуть, скоротать время за приятной беседой.

Почти каждый вечер приходил вместе со всеми и Рахмон, захватив с собой зурну. В вечернем воздухе далеко разносились ее то печально-заунывные, то задорно-веселые звуки. Нередко кто-нибудь из молодых пюгдинцев, в отсутствие стариков, лихо пускался в пляс, а

остальные азартно хлопали в ладоши, подзадоривая танцующих.

Взрослых сельчан тянуло сюда и другое. Старший сын Гомуила, который учился в гимназии, каждый год во время летних каникул приезжал из города в родное село. Это был худощавый юноша среднего роста, со светло-карими, немного близорукими глазами и открытым добродушным лицом.

Крестьяне относились к нему с большой симпатией. В отличие от отца он держался с ними просто, как равный с равными. Очень часто он рассказывал жителям селения удивительные истории.

В один из лунных вечеров, когда на току было особенно людно, Шоул говорил сельчанам о том, как три года назад в морозный январский день русские рабочие со своими женами и детьми огромной толпой шли к царскому дворцу, чтобы просить у царя хлеба для своих голодных семей, чтобы пайти защиту от притеснителей-хозяев.

Когда гимназист сказал, что царь приказал войскам стрелять в безоружных людей, нюгдинцы были потрясены услышанным. Только Илогу, язвительно усмехаясь, заметил:

— Трудно поверить, чтобы царь стрелял в свой райят¹, если они шли к нему с миром.

Несмотря на сумерки, почти все заметили, как обычно спокойный, уравновешенный гимназист, резко подавшись вперед, взглянул на чауша своими близорукими глазами с откровенной ненавистью и презрением. Шоул сдержал себя и, помолчав, вновь заговорил обычным спокойным тоном:

¹ Р а й я т — подданные.

— К сожалению, рабочие, идя к царю, тоже думали, что он выйдет к ним и выслушает их жалобу. Но хозяин всегда на стороне хозяина. Вот поэтому царь Николай — сам первый богач в России — и приказал стрелять в рабочих, которые пришли жаловаться на своих хозяев.

— Известное дело; ворон ворону глаз не выклюет, — не без ехидства произнес Рахмон.

Загорелое лицо Шоула осветилось улыбкой:

— Верно ты сказал, дядя Рахмон, верно.

— А как же такое злодейство сошло царю с рук? — беспокойно заерзав в ворохе соломы, на которой сидели собравшиеся, подал голос старый Шелбет.

— Хо-хо! Вот и сказал! — удивился Рахмон наивности старика. Похвала гимназиста, казалось, воодушевила его. — Попробуй пойти против царя — мигом на тот свет отправят. У него ведь войска, офицеры...

Все напряженно молчали, ожидая, что скажет Шоул на этот раз.

— Да, верно, у царя большое войско, полиция, — подтвердил гимназист, — но это, однако, не испугало русских рабочих...

И Шоул рассказал, как возмущенные чудовищной жестокостью царя рабочие боролись с казаками, а крестьяне в деревнях сжигали усадьбы помещиков.

Гимназист говорил сельчанам в тот вечер и о такой человеческой общине, в которой не будет ни бедных, ни богатых, и даже сказал, что называется она социализмом.

Все, что рассказывал Шоул, нюгдинцам казалось похожим на сказку. Но его беседы волновали их, вызывая смутные догадки и новые мысли.

Для тех, кто работал на токах старосты, день обычно начинался задолго до восхода солнца, когда еще очень зябко от предутреннего холода, а ноги мокры в густой росе. Каждый занимался своим делом. Одни развязывали снопы, равномерно раскидывали их на токах, другие запрягали в волокуши лошадей, успевших за короткую летнюю ночь набраться сил, и гоняли их по кругу. Третьи, вооружившись широкими деревянными лопатами, провеивали зерно.

Утром в разгар работы на ток явился староста. Лицо его было угрюмым, чувствовалось, что он не в духе. Остановившись на краю тока, у двухъярусного шалаша, в тени которого обычно отдыхали батраки во время короткого перерыва, Гомуил хмуро и рассеянно смотрел, как лошади с лоснящимися от пота боками, фыркая и мотая головами, с шуршанием тащили за собой по сухим помятым колосьям волокуши. На другом току, гладком и чистом, как пол в комнате прилежной хозяйки, стояли тяжелые бунты очищенной пшеницы, а дальше высоко вздымались огромные скирды.

Люди усердно работали, несмотря на усиливающуюся жару. Но старосту, казалось, ничто не радовало сегодня. Он с недовольным видом смотрел на работников, словно ища, на ком бы сорвать зло. И тут ему подвернулся маленький батрак Сосуп, который, зажав в зубах папироску, длинным жестким веником подметал плотно утрамбованную землю вокруг пшеничного вороха.

— Эй ты, а ну-ка поди сюда! — сердито окликнул Гомуил, поманив его пальцем.

Мальчик бросил веник и подбежал на зов

старосты, пряча папироску, которая предательски продолжала дымить в его зажатой ладони.

— Это что у тебя в руке? — Гомуил окинул злым взглядом маленькую худую фигурку, побегов, несколько раз хлестнул по лицу испуганного, растерянного мальчика. Из разбитого носа хлынула кровь. Бросив папироску и инстинктивно прикрыв запыленными руками окровавленное лицо, Сосун упал на землю. Вид крови, казалось, еще больше взбесил Гомуила, и он принялся пинать батрачка ногой, не обращая внимания на отчаянные вопли.

— Ты что, поджечь меня хочешь, гаденыш, разорить?! Вот тебе, вот, вот!.. — иступленно рычал разбушевавшийся староста.

Услышав крик мальчика, несколько мужчин, бросив работу, прибежали к месту происшествия. Откуда-то появился и Рахмон, хотя его крохотное гумно находилось на противоположной стороне села. Он сразу кинулся на старосту и с силой толкнул его кулаком в грудь, едва не сбив с ног.

— Не смей бить мальчика! — дрожа от гнева, закричал он.

Гомуил, оставив избитого, плачущего Сосуна, с ненавистью посмотрел на Рахмона.

— А тебе какое дело, мерзавец?! — прошипел он, взбешенный его дерзким поступком.

В ответ на старосту посыпались упреки и прямые угрозы батраков:

— Если мальчишка сирота, его, по-твоему, можно обижать, бить, калечить?!

— С жиру бесится...

— Ничего, пайдется и па него управа!

Гомуил сперва опешил, он с явным недоумением оглядывал присутствующих: еще не было случая, чтобы батраки позволили себе так дерзко и вызывающе разговаривать с ним, а тем более поднять на него руку. Округлившиеся глаза его налились кровью.

— Бу-у-нт?! — задыхаясь от злости, истощенно закричал староста. — Бунт?! Вы все, все за это поплатитесь!..

Увидев подоспевшего Шоула, он резко повернулся к нему:

— Это ты во всем виноват, ты!.. Никогда бы эти люди не дошли до такой наглости, чтобы так разговаривать со мной, если б не твои безбожные, подстрекательские хабары!..

Шоул, не слушая отца, подошел к судорожно всхлипывавшему мальчику, который все еще лежал на земле, вздрагивая всем телом. Он поднял его, успокаивая, вытер платком испачканное кровью лицо и велел пойти умыться. Батраки в молчании разошлись, снова принялись за работу. А Гомуил все не унимался, продолжая негодовать на сына.

— Не кричи на меня! — произнес Шоул. — Если ты хочешь что-нибудь сказать, говори спокойно, без раздражения!

Непочтительный тон сына оскорбил отца. Но больше всего его злило другое.

— Ты думаешь, я не знаю, что ты вчера вечером болтал здесь этим голодранцам? — крикнул он, кивнув головой в сторону работавших на току. — Мне все известно, все...

Трясущимися от волнения руками Гомуил вынул из кармана кальян, набил его табаком и сделал несколько глубоких затяжек. Затем, отойдя к шалашу, он устало опустил на во-

рох мятой соломы, не спуская с сына недовольного взгляда.

— Подумать только, — сокрушенно заговорил староста, словно рассуждая сам с собой, — человек казенный, учится в гимназии с сыновьями благородных отцов, сын старосты, а якшается со всякими голоштанниками, будь они трижды прокляты. И чего он нашел хорошего в этих недостойных людях — ума не приложу! Разве для того я его учил, тратил уйму денег?.. — Гомуил, шумно вздыхая, покачал головой, потом, испытующе взглянув на сына, требовательно спросил: — Ты мне скажи, кто этот смутьян и злодей, о котором ты вчера вечером упоминал здесь, этот самый... Сосализм, не к добру будь помянуто его окаянное имя! Кто он? Русский, мусульманин?..

— А на что это тебе? — невольно усмехнулся Шоул, заложив руки за спину и со скучающим видом глядя в сторону.

— Не твое дело! — вспыхнул Гомуил. — Раз отец спрашивает — отвечай! Кто этот проходимец?! Ты знаешь его?

— Допустим, а что? — уклончиво ответил юноша, словно нарочно дразня отца.

Староста стиснул еще крепкими зубами чубук кальяна, укоризненно покачал головой.

— Вай, вай, горе мне из-за тебя, — продолжал он сокрушаться, раскачиваясь, как от пестеримой боли. — И ты, сын старосты, понимающий человек, вместо того чтобы сообщить о нем полиции, избавить нас от этого преступника, повторяешь его бредни, да еще перед кем? Перед своими же работниками!.. В своем ли ты уме, сын?! — чуть не плача от возмущения, воскликнул он.

Тут к Гомуилу подбежал его десятилетний сынишка Эсеф. Радостный и возбужденный, он кинулся отцу на шею.

— Тебя-то, сынок, я не отдам ни в какое учение, ни в какие гимназии, будь они неладны, — как бы в укор старшему сыну, произнес он. — Лучше куплю тебе быстрого иноходца и хорошую плеть. Будешь разъезжать на коне и охранять отцовские владения.

Мальчик вдруг вырвался из объятий Гомуила, забежал сзади и с разбегу вскочил на него верхом. Вообразив себя всадником на лихом скакуне, он пятками «пришпорил» отца и победно гикнул:

— Ге-е-ей!.. Поехали!..

У Гомуила от резкого толчка выпал кальян изо рта, но он не рассердился на проказливого малыша, схватил его маленькую руку и с чувством поцеловал.

День медленно угасал. На высоком небе отчетливо обозначился бледный серп полумесяца. Постепенно замирали дневные звуки. Становилось тише и прохладнее. Из ближних лесов раздались привычные для слуха нюгдинцев тоскливые вечерние завывания шакалов. В ответ со всех концов селения сердито залаяли собаки.

Уставшие после тяжелой работы под палящим солнцем, крестьяне, как всегда в это время, группами и по одному начали сходиться к токам старосты. Они расположились возле скирды, как утомленные путники у подножия горы. Свежий ветерок приятно охлаждал лицо, шуршал сухими листьями веток, покрывавших стоявший рядом шалаш. Набив кальяны табаком и свернув сигарки, сельчане, мирно бесе-

дуя меж собой, наслаждались коротким вечерним отдыхом.

Среди собравшихся на току сегодня не было Рахмона. Его отсутствие больше всех ощущал Сосун. Рахмон был единственным человеком, который всегда по-отечески ласково и внимательно относился к мальчику. После сегодняшнего случая маленький батрак еще больше привязался к нему, как к самому родному и близкому человеку. Поэтому Сосун побежал в противоположный конец села, где на краю глубокого обрыва, на небольшом пятачке земли, разместился ток Рахмона.

Рахмон молча сидел, обняв руками колени, около маленькой кучки пшеницы, вокруг которой в беспорядке валялись деревянные грабли, вилы, лопаты и метла. Казалось, он не то дремлет, не то о чем-то задумался.

— Добрый вечер, дядя Рахмон! — негромко произнес Сосун.

— Ах, это ты?! — словно очнувшись от забытья, усталым голосом проговорил Рахмон. — Садись, сынок, садись.

Мальчик сел, поджав под себя босые, покрытые пылью ноги, и молча уставился на Рахмона. Он почувствовал, что сосед его чем-то сильно озабочен.

— Что-нибудь случилось, дядя Рахмон? — с беспокойством спросил Сосун, глядя в бритое смуглое лицо соседа.

Рахмон кивнул головой, потом тихо заговорил:

— Вот посмотри, — указал он рукой на кучку пшеницы, — это — все, что осталось у меня после обмолота. Урожай в этом году был плохой, и того, что я собрал, едва хватило, что-

бы уплатить долг старосте за аренду земли и за то, что пахал его буйволами. Сорок мерок пшеницы я остался ему должен еще с прошлого года. Сегодня он мне пригрозил, что если я не верну прошлогодний долг, он отберет мой виноградник. А у меня кроме десятины винограда, сам знаешь, ничего нет. Как тогда жить?..

Ничто в Рахмоне не напоминало сейчас того лукаво-насмешливого, вечно не унывающего человека, каким его привыкли видеть все.

— А ведь я мог бы хоть завтра же рассчитаться с Гомуилом, покарай его бог, — после короткого молчания, словно рассуждая сам с собой, продолжал он. — Но верно говорится: «Несчастливого волк даже с горба верблюда достает». — И Рахмон, как с другом, поделился с мальчиком своей бедой.

Боясь, что староста отпимет за долги его виноградник, Рахмон решил зарезать свою единственную корову, чтобы продать мясо сельчанам и расплатиться с Гомуилом.

Когда ее выводили со двора, жена и дети, громко плача, умоляли отца не забивать их любимцу. А корова, вытягивая шею, лизала шершавым языком протянутые ласковые детские руки, будто прощаясь.

Возле гумна ей связали ноги, повалили на бок. Подошел раби Шафад с большим острым ножом...

Когда корову освежевали, раби, присев на корточки, принялся придирчиво ощупывать еще теплые внутренности. Рахмон с напряженным вниманием следил за каждым его движением. Накопец Шафад поднялся, рассеянно глядя на свои запачканные кровью руки, и мрачно произнес:

— Харам!..

Это роковое слово ошеломило Рахмона. Ноги его подкосились.

— Раби! — взмолился Рахмон. — Какой харам?! Смотри лучше, корова здоровая, тушная, никакой болезни у нее нету. Не губи меня и мою семью, заклинаю тебя богом и памятью твоего отца!..

— Как бы ты ни просил меня, — угрюмо сказал раби, неторопливо вкладывая нож в футляр, — ничего не могу сделать, не могу я разрешить единоверцам есть такое мясо. — И, помолчав немного, добавил: — У коровы в легких порча...¹

С этими словами Шафад удалился. Весь остаток дня Рахмон метался по селу в поисках телеги и лошадей, чтобы отвезти мясо на вокзал и продать там хотя бы по дешевке русским железнодорожникам или в соседнее азербайджанское село. Но все лошади были заняты на токах и полях. К вечеру, когда ему наконец удалось найти подводу, было уже поздно: от жары мясо стало портиться, густо покрываться белыми червями...

— Идите к черту, проклятые!.. — вдруг сердито крикнул Рахмон, обернувшись назад.

Мальчик в педоумении взглянул на него, потом повернул голову в ту сторону, куда смотрел сосед. Шагах в десяти от тока целая стая псов, глухо рыча, рвала желтовато-белую коровью тушу.

— Не могу спокойно глядеть, будто они

¹ Согласно своей религии, таты могли есть только мясо животного, зарезанного человеком духовного звания и разрешенное им к употреблению. Словом «харам» накладывался запрет на мясо.

Мое тело терзают, — страдающим голосом произнес Рахмон, — и в доме тоже все плачут, как по покойнику.

Сосуп молчал, подавленный его горем. На небе продолжал светить острый, кривой, как сабля палача, холодный полумесяц. Равнодушно глядели на землю далекие мерцающие звезды. Безмолвствовало все вокруг...

Тайна реки Григоринчай

Живописны густые леса и солнечные поляны, раскинувшиеся вокруг селения, щедра земля нюгдинская. Здешняя дыня источает такой аромат, будто это не дыня, а букет благоухающих роз, и такая она сладкая, словно ее вырастили на почве, сдобренной медом. А есть ли где вкуснее и прозрачнее виноград, румяней и сочнее персики, зернистее пшеница, чем в Нюгди?! Наверно, поэтому нюгдинцы в своих песнях сравнивают дыню с грудью возлюбленной, сочную виноградную ягоду — с оком красавицы, а про свою пшеницу говорят иносказательно: «Пшеничный хлеб — стальной желудок».

Своей красотой и плодородием нюгдинская земля обязана прежде всего быстроводной реке Григоринчай, берущей начало на горных снеговых вершинах. Вода в ней не совсем прозрачная, темного илистая, но мягкая и приятная на вкус.

Как сердце человека, которое не перестает работать и тогда, когда он спит, так и река Григоринчай, неутомимая и шумливая, течет день и ночь, летом и зимой, по сотням кана-

лов посылая живительную влагу полям и садам. Если бы не было реки, не было бы и самого селения. Поэтому нюгдинцы смотрят на нее, как на свою кормилицу и защитницу. Нередко влюбленная девушка, не в силах противиться самовластным родителям, запрещавшим ей выйти замуж за избранника своего сердца, бежала к реке, чтобы найти в ней вечное успокоение, как испуганное дитя в объятиях родной матери. Забравшись на крутой обрыв или высокое дерево, нависшее над Григоринчаем, она, в предсмертном крике произнося имя возлюбленного, бросалась вниз головой в быструю реку. Случалось не раз, что следом за девушкой бежал к реке юноша, чтобы разделить участь любимой: разлука для любящих мучительнее смерти. С Григоринчаем у нюгдинцев было связано много самых разнообразных историй и преданий.

Река кормила их рыбой, которая водилась в ней в изобилии. Часто на ее берегах можно было видеть пылающие в ночи костры рыбаков.

...Летним вечером сидели у ярко горевшего костра дедушка Шелбет и маленький батрак Сосун. Было тихо. Только говорливый шум реки, блестевшей при лунном свете, нарушал глубокое безмолвие. Языки пламени освещали склоненные у огня фигуры рыбаков, отбрасывали красные отсветы на густо рассыпанные по берегу тяжелые камни. От реки тянуло успокаивающей прохладой.

Старик Шелбет с ранней весны и до поздней осени работал на чужих полях, а вечерами обычно ловил рыбу в Григоринчае. Жил Шелбет одиноко. Детей у него не было, а старуха умерла несколько лет тому назад от укуса

змея. Не было у Шелбета ни земли, ни хозяйства. И дом старика, покосившийся от времени, как покрытый мхом надгробный камень на старой могиле, сиротливо стоял на отшибе, словно стыдясь своего убожества.

Шелбет слыл среди односельчан хорошим рыбаком и опытным пловцом. Никто лучше его не знал, где нужно ставить сеть, чтобы наловить побольше рыбы. Часть добычи он продавал по дешевке односельчанам, а остальное — солил на зиму.

Отправляясь вечером на реку, старик всегда брал с собой кого-нибудь из сельчан и по-братски делил с ним улов. Чтобы при этом тот не чувствовал себя неловко, он говорил:

— Тяжело мне одному с неводом управляться, годы не те... Спасибо, что пришел...

Сегодня Шелбет позвал на рыбалку Сосупа.

— Наверно, ты и вкус свежей рыбы забыл, — сказал старик.

Сосун по-домашнему устроился у костра, скрестив ноги, и с задумчивой улыбкой рассеянно смотрел в огонь. Время от времени он поднимал голову: что-то волшебное и таинственное чудилось ему во всем окружающем. Мальчик радовался, что сейчас, когда его сверстники спят дома, он, как взрослый мужчина, сидит здесь, рядом с прославленным рыбаком дедушкой Шелбетом, а рано утром появится в селе, нагруженный добычей. Мальчишки будут с завистью и уважением смотреть на него...

— О, если бы ты знал, дядя Шелбет, о чем говорил нам сын старосты вчера вечером на току!.. Ой, как было интересно и весело... — тихо засмеялся Сосун.

Шелбет, ссутулившись, сидел молча с дымящим кальяном во рту.

— О чем? — посмотрев на Сосуна, спросил Шелбет. — А ну, расскажи.

— Он говорил о луне, о звездах. — Запрокинув голову, Сосун с любопытством посмотрел на звезды, будто желая убедиться: на месте ли они, потом, переведя взгляд на старика и загадочно улыбаясь, добавил: — А еще он нам говорил про обезьяну...

Хотя старик тоже был вчера на току и слышал, о чем говорил гимназист, он сделал вид, будто ничего не знает.

— Ну-ну, что же говорил Шоул?

— Он говорил, будто звезды — это вовсе не звезды, а луна вовсе не луна, а... вроде как наша земля, а человека, хи-хи, породила обезьяна...

Мальчик посмотрел озорно блестящими глазами в сухое, морщинистое лицо старика, желая угадать, какое впечатление произвело на него это сообщение.

Шелбет вынул изо рта трубку и, слегка постукивая ею о загнутый кверху носок своего чарыка, стал выбивать пепел. Затем, вытащив из костра сырую головню, которая шипела и сильно дымила, отбросил ее в сторону реки, словно она мешала ему думать. Огненной дугой очертив воздух, головня упала на камни и рассыпалась яркими искрами.

— Шоул умный, ученый человек, а главное — любит нас, бедных, — заговорил старик тихо, глядя в раздумянившееся лицо мальчика. — Много хорошего узнал он от русских людей, разным наукам обучился. Но с неумными людьми тоже, видно, встречался, немало глупо-

стей от них наслушался. Посуди сам: разве могут эти звезды, махонькие, словно ночные светлячки, быть такими, как наша Земля? Они давно упали бы и раздавили нас всех... А обезьяну я видел — обыкновенный зверь. И никогда не поверю, чтобы она могла породить человека, вроде меня или тебя. Не думаю, чтобы и сам Шоул верил этому...

Старик умолк, чуть отодвинулся от костра, снял с головы мохнатую папаху, вытер ею пот с лица и снова водрузил на место.

— Да, чуть не забыл тебе сказать, дядя Шелбет, — вновь заговорил Сосун. — Раби Шафад так обозлился на Шоула за его слова, так обозлился, что стал кричать, тряся бородой: «Скажи, говорит, богохул, сукин сын, а ты сам произошел от обезьяны со стороны отца или матери?» Шоула, ты знаешь, все уважают, а после слов раби люди громко засмеялись, хоть и неудобно было.

— А что ответил ему Шоул? — спросил Шелбет, пряча хитрую улыбку.

— Что ответил? «Лучше, говорит, быть безобидной обезьяной, ползать на четвереньках, чем быть обманщиком...» Клянусь богом, дядя Шелбет, я не вру: Шоул так и сказал.

Шелбет дружески кивнул ему головой, давая понять, что он верит, и спросил:

— Что же было дальше?

— Потом все смеялись над раби Шафадом, когда Шоул сказал ему, что обезьяна никого не обманывает, а ты, говорит, обманываешь, да еще за свой обман с каждого деньги берешь — пожертвование, и не смотришь, сыт этот человек или голоден, вдова ли, сирота...

Хотя Шелбет сам был свидетелем словесной перепалки между гимназистом и раби, но сейчас он заново представил себе эту сцену, в душе посмеиваясь над посрамленным Шафадом, которого недолюбливал за дружбу с Гомуилом. А Сосун, довольный тем, что его рассказ заинтересовал и развеселил старика, спросил:

— Я, дядя Шелбет, удивляюсь: как раби Шафад осмелился при всем джамаате оскорбить отца Шоула — Гомуила. Ведь он не кто-нибудь, а староста. И потом, раби со старостой — большие друзья.

Лицо Шелбета стало суровым, резче обозначились морщины.

— Гомуил не отец Шоула, — после продолжительного молчания произнес он, не глядя на своего собеседника.

— Как же это?! — воскликнул мальчик. — А разве он биж?¹

— Нет, нет, — поспешно ответил старик, как бы защищая Шоула от оскорбления. Затем, оглядевшись вокруг, словно опасаясь, что их могут подслушать, с волнением сказал: — Гомуил убил отца Шоула, когда тот был еще в утробе матери. А труп Юсуфа — отца Шоула — я нашел вот здесь, в реке, на этом самом месте. — Шелбет указал рукой, в которой держал потухший кальян, в сторону Григорицкая.

Радостное настроение, которое было у мальчика с самого начала вечера, внезапно упало, все вокруг казалось теперь не таким привлекательным, как еще минуту назад. Ему вдруг стало неуютно, даже жутко от мысли, что придется лезть в воду за певодом.

¹ Б и ж — незаконнорожденный.

Шелбет достал кисет с табаком, скрюченными худыми пальцами медленно набил кальян. Потом выхватил из костра раскаленный уголек, перебрасывая его в ладони, осторожно, стараясь не уронить, положил в трубку и большим пальцем чуть придавил сверху. Сделав несколько глубоких затяжек, Шелбет рассеянно посмотрел на притихшего мальчика и снова заговорил:

— И вот как это было. Жил у нас в селе старый мельник по имени Худодот. До того он был стар, что годы согнули дугой его спину, а седые брови закрывали подслеповатые глаза. И был у Худодота единственный сын, но такой славный, что стоял десяти иных сыновей. Звали его Юсуфом. Он был красив и нрав имел добрый, веселый. Никто на наших свадьбах так лихо не отплясывал лезгинку, как Юсуф. Бывало, музыканты уже устанут дуть в зурну, у демкеша¹, кажется, вот-вот лопнут раздутые, как мехи, потные щеки, барабанщик сбился с ритма, а наш Юсуф все продолжает кружиться, словно вихрь.

Старик умолк, придерживая чуть дрожащей рукой дымящийся кальян, задумчиво опустил покрасневшие от дыма глаза, потом продолжил свой рассказ:

— А самой красивой девушкой в Ньюди была тогда Гюзюргул, дочь старой вдовы Мозол. Много парней сваталось к ней. Набивался в женихи и Гомуил. Он уже двенадцать лет как был женат. Первую жену взял из Дербента, из богатой семьи. Но она оказалась бесплодной. Гомуил несколько раз посылал сватов с богатыми подарками к Гюзюргул, но та отвергла

¹ Демкеш — второй зурнач на свадьбе.

его. Она любила Юсуфа, и вскоре они поженились.

Но Гомуил никак не хотел мириться с тем, что такая красавица досталась другому и что Гюзюргул предпочла ему сына какого-то бедного мельника. Он задумал черное дело — убить Юсуфа и Гюзюргул, избрав для этого день их свадьбы. В тот вечер, когда свадебная процессия направлялась от дома невесты к дому жениха, Гомуил укрылся на крыше, под стогом сена, держа наготове заряженное ружье. Но что-то помешало ему тогда осуществить свой подлый замысел.

После свадьбы Гомуил как будто не только забыл о своем неудачном сватовстве к красавице Гюзюргул, но даже стал дружить с ее мужем. Он часто бывал у Юсуфа в гостях, приглашал его к себе, хвалил на людях. Никому бы тогда и в голову не пришло, что этот человек может стать убийцей своего друга.

Шелбет замолчал, нахмутив брови. Он взял несколько сухих веток, подбросил их в костер, и, когда они с треском стали разгораться, заметно волнуясь, продолжил:

— Как-то раз под вечер сижу я один на этом самом месте у костра. Кругом тишина. Только слышно, как гудит река да соловьи поют. Меня стало клонить ко сну, и я вздремнул. Но вдруг сквозь сон слышу, кто-то меня окликает: «Шелбет-холу! Шелбет-холу!»¹ Открываю глаза: передо мной, бледный и взволнованный, стоит лезгин Гасан. Он одно время жил у нас в селении, сторожил наши виноградники.

¹ Холу — дядя, почтительное обращение у лезгин к старшему.

— Да мнует тебя беда, что случилось, Гасан? — спрашиваю его. — На тебе лица нет!..

Убили, Шелбет-холу, убили... Вот на моих глазах только что убили!..

Как услышал это, сон мой будто ветром сдуло. Я вскочил с места, говорю ему:

— Скажи толком, кого убили, кто?..

Он, не отвечая, медленно опустился на землю и долго качал головой, совершенно подавленный.

— Недалеко отсюда, с полверсты... — промолвил он наконец. — Я косил траву на поляне, вдруг слышу — выстрел и чей-то крик. Такой ужасный крик, он и сейчас у меня в ушах стоит. Я косу выронил, выбегаю на опушку леса, смотрю: Гомуил и Илогу с ружьями за спиной и кинжалами на поясе поднимают с земли убитого Юсуфа. Я скорее спрятался за деревья. Они перекинули его через седло, сели на лошадей и поскакали вверх по течению. А за полчаса до этого я видел, как Юсуф шел с лопатой на плече к реке, чтобы заделать плотину, отвести воду на свою мельницу.

Мы долго сидели вместе и думали, не зная что делать. Но потом решили никому о том не говорить.

— Почему?! — удивленно подняв широкие брови, спросил Сосун.

— Свидетелей-то, кроме Гасана, никого не было, — ответил Шелбет. — А Гомуилу, у которого много друзей среди больших хакимов¹ в округе, ничего не стоило бы свалить всю вину на бедного Гасана... Когда Гасан ушел, я разделся и полез в воду. Только приблизился к не-

¹ Хаким — начальник.

воду, вдруг что-то большое и скользкое коснулось моих колен. Сначала я думал, что это теленок, которого унес поток. Ощупываю — человек! У меня дрожь пробежала по всему телу. Я сразу решил, что это Юсуф. И когда я еле живой от страха выволок его на берег, уложил у костра, смотрю — действительно, он.

Много лет, сынок, прошло с тех пор, но я и сейчас отчетливо вижу его перед собой. Он лежал вот здесь, у шалаша, который я тогда себе строил. Глаза были открыты, как у живого, и смотрели на меня в упор, как будто он силился сказать мне что-то. Я снял с него пояс с кинжалом, спрятал в шалаше под соломой и побегал в село известить отца и жену Юсуфа. Но о том, что рассказал мне лезгин Гасан, я, конечно, умолчал. А спустя три месяца Гомуил уговорами и угрозами заставил Гюзюргул обвенчаться с ним. Через шесть месяцев после этого родился первый и последний сын покойного Юсуфа — Шоул.

Шелбет умолк. Низко опустив голову и прикрыв глаза, застыл в неподвижной позе. Казалось, что он уже дремлет. Но когда мальчик, взволнованный рассказом, спросил, знает ли Шоул о том, что Гомуил — убийца его отца, старик встрепенулся и посмотрел на Сосуна.

— Знает, — кивнув головой, уже почти спокойным голосом произнес он. — Раньше не знал, теперь знает. В прошлом году, когда он приезжал, как всегда, на лето домой, я встретился с Гасаном, и мы с ним договорились обо всем рассказать Шоулу. Было бы тяжким грехом скрывать от сына тайну убийства его отца.

...Шелбет, как и многие батраки, почти каждый год в разгар лета работал на токах Гомуи-

ла. Однажды вечером, когда Шоул шел домой, старик догнал его. Поздоровавшись с ним, он некоторое время шел молча, а потом неожиданно сказал:

— Мне необходимо рассказать тебе об очень важном для тебя деле, сынок. Поэтому я прошу, зайди ко мне.

Юноша не придавал особого значения словам Шелбета, но все же пошел с ним.

В убогой хибаре, освещенной чадающей коптилкой, их уже ждал худощавый, но крепкий на вид пожилой мужчина с длинными усами — лезгин Гасан. Он по-дружески пожал Шоулу руку, расспросил его о здоровье и учебе.

Шелбет усадил гостей рядом, а сам нетвердой старческой походкой подошел к деревянному сундуку, стоявшему у голой закопченной стены. Подняв крышку на заржавленных петлях, он достал пояс с длинным кинжалом и, вернувшись к гостям, молча положил его перед удивленным гимназистом.

— Что все это значит, дядя Шелбет? — с недоумением спросил он и шутливо добавил: — Не собираешься ли ты сделать мне подарок?

— Я ничего не думаю тебе дарить, — нахмурившись, произнес Шелбет, опускаясь на пол перед юношей. Старик коснулся рукой кинжала: — Он и так принадлежит тебе.

— Мне?! — удивился Шоул, приняв его слова за добрую шутку. Но в то же время ему казались загадочными заметное волнение старого Шелбета, предупредительная учтивость и мрачная торжественность Гасана.

— Ды, сынок, Шелбет-ходу прав, строгим голосом произнес молчавший до сих пор Гасан. — Это кинжал и пояс твоего покойного от-

да Юсуфа, которого мы хорошо знали и уважали. Покажи матери, она сразу признает их.

Полудетское, добродушно-веселое лицо гимназиста с едва обозначившимся на губе темно-каштановым пушком стало вдруг скорбным и задумчивым. Он бережно взял пояс с кинжалом и принялся внимательно разглядывать их, словно силясь восстановить по ним родные, но незнакомые ему черты отца, погибшего раньше, чем он успел появиться на свет. Первый раз в жизни сын держал в руках вещи, принадлежавшие отцу. Шоул тяжело вздохнул и с волнением спросил:

— А как они попали к вам?

Пока Гасан и Шелбет рассказывали, лицо его, искаженное болью, то бледнело, то вспыхивало краской гнева. Судорожно сжав рукоятку кинжала, Шоул вдруг резким движением наполовину выхватил его из ножен, представляя, как он, мстя за кровь отца, наносит удар за ударом ненавистному отчиму... Старики молча смотрели на юношу, разделяя его горе. Наконец с глухим стуком загнав кинжал в ножны, он вернул его Шелбету.

— Пусть он пока хранится у вас, — сдерживая слезы, сказал Шоул. — И прошу вас, чтобы эта тайна осталась между нами. Ни прямо, ни намеком, ничего не говорите моей матери. Придет время, я сам все расскажу ей.

Старики поклялись честно исполнить просьбу юноши. Шоул встал и, двигаясь на ощупь, словно слепой, медленно вышел на улицу.

...Закопчив свой рассказ, Шелбет молчал, погруженный в свои мысли. Потом, точно очнувшись, он посмотрел в задумчивое, испуганное лицо Сосуна и заставил себя улыбнуться.

— Ну, теперь вставай. Пора уже проверять невод! — мягко приказал старик.

Раздевшись, они вошли в поток холодной воды. Держа друг друга за руки, чтобы течение не сбило их с ног, рыбаки подошли к неводу. Отцепив сеть от березовых кольев, они с трудом вытащили ее на берег и вытряхнули улов.

Скользкие кутумы, шлепая гибкими хвостами и пересвертываясь через голову, отскакивали к воде. Сосун носился по берегу, хватал то одну, то другую рыбку, оглушая ее ударом камня по голове. Потом, собрав всю добычу и разложив ее в ряд, принялся считать.

— Ой, как много! — с детской восторженностью воскликнул он, тяжело дыша после отчаянной схватки с рыбами. — Пятнадцать кутумов и две лососины — вот здорово!..

Шелбет, весь мокрый, с трубкой во рту возился у костра, подкидывая в него свежие сучья, и с улыбкой наблюдал за своим помощником. С его седой бороды каплями стекала вода.

— Вот и не пожалеешь, что пришел со мной. Половина рыбы — твоя, — щедро распорядился Шелбет и добавил: — Завтра с утра нас ждут «пирамиды фараона»: надо немного вздремнуть.

Сосун с улыбкой на радостно-возбужденном лице свернулся калачиком возле костра на груде сухих веток, покрытых сверху пахучим сеном. Утомленный работой на току, согретый благодатным теплом, исходящим от костра, и убаюканный монотонным шумом реки, он быстро уснул, положив ладонь под щеку. Старый Шелбет долго еще не спал, взволнованный горестными воспоминаниями. Он сидел, сгорбив-

шись, дымя кальяном, задумчиво ковырял палочкой в горячем пепле, перебирая красные угольки, и время от времени отгонял от лица крепко спавшего мальчика назойливых комаров.

Незадолго до рассвета старик задремал, но чуткий сон его был нарушен дробным цоканьем копыт. Не прошло и пяти минут, как двое вооруженных всадников осадили разгоряченных коней у тлеющего костра, где расположились рыбаки. То были староста и его чауш.

Не поздоровавшись с Шелбетом, Гомуил, злой и мрачный, спросил, не показывался ли Рахмон сегодня ночью в этих местах.

— Нет! — резко ответил Шелбет и, чувствуя что-то недоброе, с беспокойством поинтересовался: — Да будет к добру ваш приезд, а что случилось?

Гомуил молчал.

— Этот собачий сын, — потрясая над головой кулаком, возмущенно произнес Илогу, — нынче ночью поджег две скирды старосты и убежал.

— Ничего! Долго скрываться ему не удастся! — с ненавистью сказал Гомуил. — Я его все равно найду, если даже под землей затаится! Головой заплатит мне!..

Гомуил в сердцах хлестнул лошадь и в сопровождении чауша поскакал дальше. Частый стук копыт о прибрежные камни гулко раздавался в тишине пробуждающегося утра. Вскоре всадники скрылись за лесом, окутанным белеющей холодной мглой.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Мечты перед зеркалом

Единственный в Нюгди родник находился на южной окраине села, в неглубокой тихой лощине. Здесь из-под высокого черного земляного обрыва, поросшего сверху орешником, с веселым журчанием, словно радуясь, что вырвалась на волю, струилась чистая студеная вода, образуя небольшой водоем. Роднику столько же лет, сколько и самому селению. Жители приписывали его открытие легендарному основателю Нюгди Довиду — визирю табасаранского хана¹. Но когда, в каком веке это было, точно никто не знал. Зато предание о Довиде, о его подвиге было известно каждому нюгдинцу. Родник Довида считался священным местом.

Прозрачная вода родника отчетливо отражала небо, деревья и кусты, росшие над обрывом. Нередко девушка, прежде чем наполнить свой кувшин, склонялась над водой и долго разглядывала себя, как в зеркале, которое было редкостью в домах нюгдинцев. А в сумерки или на рассвете, когда все еще спали, в лощину, к источнику, осторожно, как чуткие лани, иду-

¹ Д о в и д — герой известной татской легенды «Визирь табасаранского хана».

щие на водопой, сходились на тайное свидание влюбленные.

За водой приходилось идти через майдан, где обычно на досуге собирались мужчины. Нередко они, особенно старики, подзывали девушек, возвращавшихся с родника, и просили напиться. Дать воды просящему, так же как кров и постель гостю, считалось у нюгдинцев святым делом. Пока кувшин переходил из рук в руки и люди утоляли жажду, девушка скромно стояла в стороне.

Вот на дороге, ведущей от источника в село, показалась девушка лет шестнадцати с влажным глиняным кувшином за спиной. Парни сразу прервали оживленный разговор и устремили на нее любопытные взгляды. Настроение молодых словно передалось старикам. Они тоже, умолкнув, приветливо смотрели на девушку.

— Клянусь богом, я сейчас позову эту красавицу и выпью воды из ее кувшина,— словно радуясь такому случаю, весело произнес Офдум Четверть Быка, в смолисто-черных пышных усах которого уже появилось немало серебряных нитей. Рядом с Офдумом сидел на завалинке маленький седобородый старичок Одом, по привычке запустив морщинистые короткопалые руки за красный кушак, который он упорно продолжал носить, несмотря на то, что его жена давно постарела. Одом все еще надеялся, что жена родит ему сына, поэтому не желал расставаться с «кушаком бездетности». Прародителю Аврааму, как он слышал от раби Шафада, было девяносто девять лет, а его жене, пресвятой Сарре, девяносто, когда она родила их первенца Исаака. А его жене, слава богу, еще далеко до возраста Сарры...

Не расстался Одом за эти годы и со своей застарелой малярией. Поэтому, как и много лет назад, несмотря на солнечную погоду, он сидел в теплой шубе, боясь, что в любую минуту его может прихватить лихорадка.

Офдум заерзал на месте, как будто готовясь принять кувшин.

— Да ты недавно выпил полкувшина воды,— усмехнулся Одом, с удивлением поглядывая на него.

— А разве ты не знаешь, дядя Одом, что когда встречаешь чистый родник, всегда хочется пить, даже если тебя не томит жажда? — отшутился Офдум, следя за приближающейся девушкой.

А та, на кого обратили внимание сидевшие мужчины, шла, слегка изгибаясь под тяжестью своей ноши. Простое бязевое платье плотно облегалo упругую грудь. Тонкие черты лица были чуть тронуты мягким загаром. Из-под темных бровей живо и немного застенчиво смотрели большие, похожие на мокрые спелые сливы, глаза с густыми бархатными ресницами. На правой щеке — родинка. Девушка словно плыла в медленном танце, стараясь не расплескать воду.

Почувствовав на себе любопытные взгляды мужчин, она зарделась и, потупив глаза, ускорила шаг, чтобы быстрее миновать майдан. Но Офдум Четверть Быка громко окликнул ее. Девушка медленно подошла, сняла с плеч тяжелый кувшин, поставила его перед ним, а сама почтительно отошла в сторону, терпеливо ожидая, пока он напьется. Сделав несколько глотков, Офдум крикнул от удовольствия и опустил кувшин. Вытирая рукавом бешмета мокрые

усы, он с лукавой усмешкой в глазах посмотрел на соседа:

— Пей и ты, а то пожалеешь!

Старик теплым взглядом окинул девушку, с неожиданной для его возраста проворностью сбросил с плеч шубу и встал. Погладив усы и бороду, Одом понимающе кивнул Офдуму.

— Ей-богу, Офдум, ты прав, — озорно произнес он, — как можно не выпить из кувшина такой красавицы!.. Пить воду из него — все равно что пить из источника Зем-зем¹.

Тут осмелела и молодежь. Не стесняясь присутствия стариков, парни поочередно подходили и, словно желая продемонстрировать перед девушкой свою силу и ловкость, одним взмахом руки легко поднимали кувшин, подносили ко рту и медленно, будто по каплям глотая мед, пили, не сводя с красавицы зачарованных глаз.

Кувшин был возвращен хозяйке, когда в нем не осталось ни капли. Девушке пришлось вернуться к роднику за водой.

— Э-эх, был бы жив пастух Ишмаил, посмотрел бы, какая у него дочь растет, — покачал головой старик, накидывая на плечи шубу и без видимой надобности поправляя свой кушак. Затем, провожая девушку грустным взглядом, он задумчиво добавил: — Пери! Пери — красавица... И имя-то у нее чудесное, под стать ей.

— Не зря сын старосты, Эсеф, сохнет по пей, — не то с удовольствием, не то с осуждением проговорил Офдум.

— Да, быстро летит время, — печально про-

¹ Зем-зем — по народному преданию, волшебный источник, вода из которого возвращает молодость и дает бессмертие.

изнес старик, как бы продолжая рассуждать сам с собой.— Вот уже десять лет прошло, как мы похоронили бедного Ишмаила, а кажется, что это было вчера. Эх, наша жизнь скоротечная!.. Не успеешь наглядеться на свет божий, а смотришь — жизнь уже прожита...

Когда Пери вернулась домой, Сосун сидел на земляном полу веранды и старательно прошивал нитками новые чарыки. Одет он был в старую черкеску из темно-рыжей домотканой шерсти. Его большой плотной фигуре было тесно в ней. Сейчас никто бы не узнал в этом широкоплечем смуглом молодом человеке того тщедушного, бледного мальчика, который десять лет назад водил отца гудилом по селу. Лицо его, широкоскулое, с густыми, сросшимися на переносице бровями, казалось несколько суровым. Лишь глаза юноши остались такими же большими и немного грустными. Увидев сестру, Сосун в сердцах плепнул об пол готовым чарыком и с досадой сказал:

— Проклятый староста! Работаете на него, как вол, а он жалеет хорошей кожи на чарыки. Разве это кожа? Она не толще луковой кожуры. Такие чарыки и две недели не проносишь...

Но, по правде сказать, Сосун сейчас был недоволен не столько жадностью старосты, сколько своей сестрой.

— Куда ты запропастилась? — раздраженно спросил он.

Пери, поставив кувшин с водой в углу веранды, подошла к брату и остановилась перед ним.

— Разве я виновата, если мужчины на майдане попросили напиться и всю воду выпили? Пришлось второй раз идти к источнику,—

обиженно произнесла она, утаив от брата, что долго любовалась на свое отражение в зеркальные глаза родника.

— Смотри у меня! — неуверенно пригрозил Сосун. — Почему-то, когда ты идешь за водой, их всех, чертей, будто раненых оленей, начинает мучить жажда... К источнику можно и стороной пройти, не обязательно же через майдан, где всегда собираются мужчины.

В отношениях с сестрой Сосун был сдержан и строг, порой даже суров. У нюгдинцев не принято открыто выражать нежность к жене или сестре, ласкать, брать на руки своего ребенка при родителях и старших. Свои чувства мужчина должен скрывать под внешней суровостью.

— Аззи!¹ Я же знаю, что ты на меня не сердишься, — ласково проговорила Пери, чтобы загладить свою вину. Она, весело рассмеявшись, опустилась перед братом на корточки и коснулась губами его плеча.

Плотно сжатые губы Сосуна расплылись в невольной улыбке, но он, не поднимая головы, с притворным недовольством пробурчал:

— Ну ладно, не мешай мне работать. Иди займись своим делом!

Но Пери с робкой улыбкой продолжала смотреть на брата.

— Ну, что тебе? — спросил Сосун, догадываясь, что она хочет о чем-то попросить.

— Девушки собираются в саду поиграть в абаков². Разреши и мне пойти с ними, — сказала она, умоляюще глядя на брата.

¹ Аззи — дорогой; почтительное обращение к старшему брату в семье.

² Абаков — игра в мяч.

Сосун взял с пола новый кусок кожи, не спеша расправил на колене и принялся бритвой соскабливать с него шерсть.

— Ладно, иди, отвяжись! — не очень охотно согласился он. — Только... — Сосун исподлобья сверкнул глазами на сестру. — Только не задерживайся долго, а то смотри у меня!..

Обрадованная Пери вихрем влетела в комнату, торопливо взяла из пиши платок с ярко-красными розами на темном фоне и, падев башмаки на деревянной подошве, весело выбежала во двор.

Сосун отложил кожу на пол и долго глядел вслед удаляющейся сестре. Даже когда девушка, спустившись по узкой тропинке в овраг, за которым виднелись сады, совсем исчезла из виду, он продолжал смотреть в ту сторону с задумчивым и озабоченным видом.

Последние годы Сосуну жилось неплохо. Прошли тяжелые, горестные дни сиротства, когда нередко в доме не было даже куска хлеба, а если удавалось поесть досыта, то это для него с сестрой было настоящим праздником. Среди батраков Гомуила Сосун, пожалуй, был самым старательным и проворным. Расчетливый староста ценил своего прилежного работника, даже дал ему корову и сумел уберечь от мобилизации в царскую армию, несмотря на то, что уже третий год шла война с Германией и многие сверстники Сосуна паходились на службе.

Сосун был доволен жизнью. С годами вроде стала забываться кровная обида, которую староста нанес отцу и ему. Батрак относился к Гомуилу с внешним почтением и покорностью. Рано познав горькую сиротскую жизнь,

он был рад, что у него есть кров над головой, свой сыр и хлеб, а хозяин, который дает ему работу, вроде относится к нему хорошо.

И Пери, несмотря на постоянное недоедание и лишения, пережитые в детстве, слава богу, выросла здоровой, расцвела как роза. Сосун гордился сестрой, любил ее. Но последнее время красота Пери не столько радовала брата, сколько пугала его. По селу ползли слухи, будто Пери и сын старосты Эсэф любят друг друга и даже тайно встречаются. Сосун был твердо уверен, что староста никогда не согласится женить своего сына на бедной девушке, тем более дочери пастуха. А тайные свидания до добра не доведут. Злые языки могут опорочить честное имя сестры, и тогда, несмотря на красоту, едва ли кто захочет взять ее в жены. «А вдруг все это правда?» — с тревогой подумал он. Сосун беспокоился не только за честь сестры, но и за свою честь брата. Для мужчины лучше смерть, чем жизнь без чести. А странное поведение сестры в последнее время все чаще возвращало его к этим тяжелым мыслям.

Пери нередко стала отлучаться из дому, иногда даже не спрашивая у него разрешения, подолгу задерживалась, когда ходила к роднику по воду. С нею творилось что-то непонятное: то она беспричинно смеялась, то впадала в глубокое уныние. Может, все это оттого, что она влюблена?..

Степенные и суровые пюгдинцы охотно слушали песни ашугов о любви, о Лейли и Меджнуне, частенько пели и сами, но своих дочерей и сестер старались оберегать от этой губительной страсти, как от какой-то опасной болезни.

Сегодня Сосун, как обычно, проснулся чуть свет, встал, чтобы подложить сена корове. Проходя мимо постели спящей сестры, он невольно обратил внимание на выражение ее лица. Пери блаженно улыбалась, и Сосуну показалось, что она во сне разговаривает с сыном старосты, что ее губы шепчут нежные слова любви, произносят его имя. Подозрение с новой силой вспыхнуло в душе брата, его так и подмывало наброситься на сестру, схватить за волосы и бить, бить до тех пор, пока не изгонит из нее, как беса из тела сумасшедшего, любовь к Эсефу. Однако, с трудом пересилив себя, он решил сначала узнать обо всем, когда она встанет, а потом подумать, как поступить. Когда же Пери проснулась, она так преданно и жалобно посмотрела на брата, что гнев его остыл. Он, будто чувствуя свою вину перед ней, отвел глаза в сторону. «Может, все это — небылицы, хабары? — подумалось Сосуну. — Кто не знает наших сплетниц. Из мухи слона сделают...»

...В саду, где собралась молодежь поиграть в абаков, было шумно и весело. Девушки с притворным испугом, громко смеясь и взвизгивая, перебегали от одного дерева к другому, а парни гонялись за ними, стараясь попасть в них мячом.

После игры девушки отделились от парней и, шумно обсуждая результаты игры, двинулись в глубь сада. А одна пара отстала от компании. Высокий юноша с добродушным лицом и Пери остановились под раскидистой яблоней. Он что-то говорил и машинально наматывал на палец черную бахрому ее платка, будто желая прочнее привязать девушку к себе. Это был Эсеф — сын старосты.

Стреко́та пис кузнечиков и разноголосое щебетанье птиц наполняли сад.

— Пери, пойдем в наш шалаш,— умоляюще проговорил Эсеф, тихонько потянув девушку за руку.

Пери не стала сопротивляться. Там, в стороне от любопытных глаз, можно спокойно посидеть с любимым, наговориться всласть. Держась за руки, они прошли через сады и оказались у невысокой ограды, за которой растянулся скошенный луг, плотной стеной окруженный с трех сторон зеленым лесом. В середине луга купно росли кусты терна, густо увитые ежевикой с красными зреющими ягодами.

Перебравшись через ограду, Эсеф и Пери, точно малые дети, обрадованные тем, что вырвались на волю, с задорным звонким смехом побежали к кустам. У терновника они помедлили и огляделись по сторонам. Убедившись, что их никто не видит, влюбленные торопливо раздвинули кусты и скрылись в них.

Но едва Пери и Эсеф успели перелезть через садовую ограду, как между деревьями мелькнула женская фигура в яркой пестрой одежде. Стараясь остаться незамеченной, женщина, слегка пригнувшись, перебежала от дерева к дереву, приближаясь к ограде. Но пока она добралась до луга, густой кустарник надежно укрыл влюбленных.

Густые верхушки терновника, оплетенного ежевикой, образовали подобие шалаша. Влюбленным сейчас казалось, будто весь мир заключен в этом крохотном уголке, куда не проникал ни человеческий взор, ни солнечный луч.

— Ох, как хорошо мне с тобой, Эсеф,— по

привычке склонив голову набок, улыбнулась Пери и несмело добавила: — Но сегодня я долго не смогу быть с тобой.

— Почему? — Эсеф посмотрел на нее с удивлением.

Пери опустила глаза и не сразу ответила.

— Брат ругал меня за то, что я задержалась у источника, когда ходила за водой, — вода маленькой ладонью по траве, тихо проговорила она. — Мне кажется, он догадывается, а может, и знает, что мы... Поэтому сегодня придирался ко мне.

— Ну и пусть знает, что мы любим друг друга. Осенью все равно свадьбу сыграем, — самоуверенно произнес Эсеф.

Девушка подняла голову и долго счастливыми, благодарными глазами смотрела в бесконечно дорогие черты любимого. Но вдруг в ее лице что-то дрогнуло. Она сдвинула тонкие брови и, не глядя на Эсефа, спросила:

— А если твой отец не захочет ввести меня в свой дом?!

— Ну почему ты так думаешь, — с мягким укором сказал Эсеф и, чтобы рассеять ее сомнения, попытался бодро улыбнуться. Но улыбка получилась жалкой, растерянной.

Пери опечаленно опустила глаза, задумалась.

— Боюсь я твоего отца, ох как боюсь его, — наконец отозвалась она и с обидой добавила: — Я же сирота, дочь пастуха, а вы — люди богатые, знатные. И потом у твоего отца на примете другая девушка для тебя. Все об этом говорят...

— Пери, прошу тебя, не напоминай мне об этом! — страдальчески взмолился Эсеф.

Он не раз слышал недвусмысленные намеки отца на то, что он желает видеть Хонум — дочь раби Шафада — своей снохой. Слова любимой привели его в отчаянье, и он, обхватив голову Пери, с силой прижал ее к груди.

— Ах, Пери-джап, Пери-джан! Если бы ты знала, как я тебя люблю! — горячо и взволнованно прошептал Эсеф. — Клянусь отцом, наяву ли, во сне ли, ты всегда со мной. А когда тебя долго нет рядом, мне кажется, я лишился своей тени и вот-вот умру...¹ Я скорее дам себя заколоть, чем позволю отцу женить меня на другой!..

Пери слышала, как бьется сердце в груди любимого, и ей хотелось плакать от счастья.

— Помнишь, Эсеф, как много лет назад, когда мы были детьми, ты приходил к нам во двор за моим отцом и звал меня поиграть на вашу улицу? Помнишь, что я тебе ответила?

— Помню, очень хорошо помню, — глядя рукой волосы Пери, с улыбкой произнес Эсеф. И подражая ее детскому голосу, воскликнул: — Я с мальчишками не играю...

— Да, я так говорила, — тихо вздохнув, промолвила она. — А сейчас вот даже в кусты забралась с тобой.

Неожиданно они услышали пронзительный женский вопль:

— О Эсе-еф, ты убил меня! О Пери, да чтоб тебе на свадьбе сыграли «Обратный марш»!..

Пери вздрогнула, услышав страшное проклятие. Она знала, что «Обратный марш» игра-

¹ Таты верили, что если человек лишится тени, ему суждено скоро умереть.

ют на свадьбе невесте, потерявшей девичью честь. Опозоренную девушку отец или брат обычно убивали на пороге своего дома. А если ей и дарили жизнь, то она жила в родительском доме на положении рабыни, презираемая всеми.

Пери резко высвободилась из объятий Эсефа и, растерянно взглянув на него, приглушенно прошептала:

— Это она, Хонум, каркает как злая ворона, рыщет по моим следам.

Заметив порывистое движение Эсефа, она крепко обхватила его за плечи, стараясь удержать.

— Нет, нет, нам нельзя сейчас показываться на глаза этой ведьме. Я знаю, какая у нее черная душа и злой язык. Она может оклеветать меня... А то бы я сама, клянусь жизнью единственного брата,— черные глаза девушки вспыхнули огнем,— оттащила за волосы эту дрянь.

...После старосты раби Шафад был самым состоятельным человеком в Ньюди. Его фруктовый сад, виноградники, поля и скот приносили ему немалый доход. Безмерно жадный Гомуил втайне мечтал завладеть наследством раби. Он стал чаще бывать у него дома и каждый раз, встречая Хонум, ласково и шутливо называл ее своей «сношенькой».

О намерениях старосты знали не только родители девушки, но и все ньюдинцы. Теперь Хонум, увидев Гомуила или его жен, прикрывала лицо краем платка, как полагается невесте при встрече с родными жениха до свадьбы.

Хонум была бледная, светловолосая девушка, невысокого роста, с пизким упрямым лбом

и длинным носом. Плотные сжатые тонкие губы ее постоянно кривились в язвительной улыбке. Ее непривлекательное лицо украшали только глаза — большие и умные, но даже в них было что-то отталкивающее. Хонум всегда смотрела на человека так, словно хотела уличить его в чем-то. Избалованная чрезмерным вниманием родителей, она была до того самолюбива и неблагожелательна к другим, что радости подружки огорчали ее, а неудачи — веселили. Она даже не считала нужным это скрывать.

Не только парни, но и девушки сторонились дочери раби. В обществе заносчивой и всегда крикливо одетой Хонум они чувствовали себя неловко. За глаза ее презрительно называли «Хьофдрапге»¹ из-за того, что она любила щеголять в очень пестрых дорогих нарядах. Особенно избегал ее Эсеф, которого она считала своим женихом. А ей он очень нравился, и она старалась как можно чаще попадаться ему на глаза.

Этим утром Хонум проснулась в самом прекрасном настроении, полная радужных надежд. Вчера, когда она раздувала во дворе самовар, ее будущий свекор опять пришел к ним вместе с отцом. Пропустив вперед раби, Гомуил подошел к ней и, указывая на весело гудящий начищенный до блеска самовар, ласково шепнул в ухо: «С этой осени ты будешь разжигать его в моем доме».

Встав с постели, Хонум подошла к сундуку, обитому железом, легко подняла крышку. Сундук был доверху набит богатой одеждой. Роди-

¹ Хьофдрапге — семицветная (перелетная птица).

тели явно не жалели денег для единственной дочери. Хонум некоторое время постояла у открытого сундука, раздумывая, во что ей лучше придется, чтобы вызвать зависть и удивление девушек, а главное — привлечь внимание парней и, конечно, прежде всего Эсефа.

Спустя несколько минут она уже крутилась перед зеркалом, тщательно рассматривая себя. На ней были широкие шаровары из блестящего красного шелка и темно-синее бархатное платье, поверх которого она повязала широкий серебряный пояс с нашитыми на него крупными монетами. Голову украшал белый гянджинский платок, в ушах — длинные золотые подвески отличной кубачинской работы.

Хотя вычурный паряд еще больше подчеркивал ее непривлекательность, самой себе Хонум казалась восхитительной. Любуясь в зеркало, она мечтала во что бы то ни стало покорить сегодня сердце Эсефа. Он не может не знать о решении отца женить его на ней, думала Хонум. А если он избегает встреч, то, может быть, потому, что стесняется ее или просто до женитьбы хочет немного позабавиться с дочерью пастуха Ишмаила. Ах, эти мужчины!.. Но ведь всему есть предел. Сколько можно ждать?! Тем более что вчера ее будущий свекор сказал, что осенью она будет женой Эсефа.

Хонум живо представила себе, как поразит всех ее появление в саду в новом наряде. Но она сделает вид, что ничего не замечает. Пусть знают, что для нее ходить в дорогих платьях, о которых многие девушки не смеют и мечтать, — обычное дело. А дочь пастуха, как только взглянет на нее, сразу почувствует свое нич-

тожество. Все говорят, что она хороша собой. Ну и что ж?! Красоту на стену не вешают. А на этой нищенке никогда даже приличной юбки не бывает. Посмотрит Пери на нее и, приниженная, сгорая от зависти и ревности, убежит. Эсеф, конечно, не станет ее удерживать и в душе даже примется упрекать себя: «Вай, вай, неразумная моя голова! Что я нашел в этой нищей оборванке? Какой же я был дурак! Ведь Хонум и симпатичная, и богатая...» А она сделает вид, что он ей совершенно безразличен, будет весело болтать с подругами и беспечно смеяться. Да, она сегодня покажет себя.

Когда все разойдутся, Хонум не спеша, как бы прогуливаясь, направится в сад своего отца. Ведь имеет же она право погулять в собственном саду? Разве она виновата, что Эсеф в это время будет, как тень, следовать за ней и даже, может быть, сравнивая свою любовь с любовью Меджнуна, запоет грустную песню, обращаясь к ней, как к своей Лейли. А она сделает вид, будто ничего не слышит и не замечает. Эсеф догонит ее, посмотрит с виноватым, умоляющим видом и скажет: «Хонум-джаң, какая ты сегодня прекрасная!.. Не избегай меня, послушай, я уже давно собираюсь сказать тебе, поговорить с тобой!..»

А она сделает удивленное и даже обиженное лицо, надует губы, застенчиво прикроет лицо краем белого шелкового платка и прикинется оскорбленной: «Что за глупости такие?! Я не собираюсь разговаривать наедине с чужим парнем, не хочу позорить себя и доброе имя своих почтенных родителей, как некоторые ветреные, безнравственные девушки...»

Эсеф, конечно, догадается, на кого она намекает. Но он сделает страдальческое лицо и скажет: «Оставим эти разговоры, к чему они? Разве мы чужие? Мы же с тобой — жених и невеста». А она гордо, с лукавой усмешкой глядя на него, скажет: «Это еще как сказать: захотят ли мои родители выдать меня за тебя...»

Его глаза вспыхнут страстью. «В таком случае мне остается лишь одно — похитить тебя!» — воскликнет он и, протянув руки, попытается схватить ее. Но она ловко увернется, спрячется за дерево. Эсеф погонится за ней, а она, перебегая от одного дерева к другому, будет его дразнить и громко смеяться...

Воображаемая встреча с Эсефом до того поправила Хонум и развеселила ее, что она на самом деле принялась хохотать. Из соседней комнаты поспешно вышла озадаченная и встревоженная мать — старая, усталая женщина с бескровным лицом. Она, посмотрев на дочь, которая все еще продолжала вертеться перед зеркалом и звонко смеяться, строго сказала:

— Горе мне, твоей старой матери! Сколько раз я тебе, дочка, говорила: не смотришь так часто в зеркало, с ума сойдешь. Ведь в нем сидит бес, иначе бы разве стекло могло отражать лицо человека?

...С гулянья Хонум вернулась злая, разбитая и бесконечно несчастная. Как говорится: «Шла — веселилась, вернулась — прослезилась». Эсеф по-прежнему был к ней безразличен. Он, кроме Пери, никого не замечал вокруг. Да и девушки неохотно разговаривали с Хонум, относились к ней даже холоднее, чем обычно. Она чувствовала себя среди них словно курица, попавшая не в свой курятник. А ненавистная

дочь пастуха, окруженная подругами, такими же оборванками, как она, была сегодня особенно беспечна и весела.

Хонум притворилась, будто не обращает внимания ни на Эсефа, ни на Пери, но сама ревниво следила исподтишка за каждым взглядом и движением влюбленных счастливицев. Когда же они направились к садовой ограде, она, забыв о самолюбии и девичьей гордости, словно поневоле пошла за ними. Пока она, стараясь не выдать себя, подбиралась к ограде, Эсеф и Пери скрылись из виду. Хонум, как заблудшая овца, отбившаяся от отары, долго в смятении кружила по скошенному лугу, стараясь напасть на след влюбленных, исчезнувших неведомо куда. Измученная, окончательно потеряв надежду найти их, она, точно смертельно раненная, упала недалеко от кустов и отчаянно закричала, посылая проклятия на голову Пери.

Вернувшись домой, Хонум, сама не зная зачем, подошла к зеркалу, затуманенными глазами посмотрела в него: на нее глядело усталое, еще более подурневшее лицо. И вдруг, вспомнив красивую, улыбающуюся Пери, Хонум в бессильной злобе отчаянно зарыдала.

Услышав ее истеричный плач, встревоженная мать выбежала из внутренней комнаты. Когда старуха увидела судорожно рыдающую перед зеркалом дочь, она решила, что бес, сидящий в нем, и впрямь повредил рассудок дочери.

— Ах, горе мне, твоей матери,— сокрушенно воскликнула женщина, с укором и болью глядя на непосlušную дочь,— сколько раз я тебе говорила: не смотришь так часто в зеркало, оно сведет тебя с ума!

Быстро подойдя, она сняла со стены зеркало, завернула его в первую попавшуюся тряпку и вынесла в сарай, призывая тысячи проклятий на головы тех, кто выдумал эту бесовскую штуку.

Кавалер Георгиевского креста

Как обычно Сосун встал сегодня рано утром. Едва занялась заря, он уже был на ногах. Еще вчера Илогу, помогавший Гомуилу в хозяйственных делах, поручил ему и Шелбету съездить в дальний лес, заготовить шесты и бревна для постройки летней конюшни. Взяв котомку, в которую заботливая Пери еще с вечера положила два чурека, кусок сыра и вяленую рыбу, прихватив топор и пилу, Сосун вышел во двор.

Утро стояло тихое, ясное. Нежаркие лучи красного солнца, только что выглянувшего из-за окрестных садов, пронизывали чистый и свежий воздух. Сосун на минуту остановился посреди двора и невольно улыбнулся красоте летнего утра. Но улыбка погасла на его лице, когда он услышал причитания соседки — тети Майрам, жены Рахмона.

Прошло десять лет с тех пор, как Рахмона осудили и отправили в Сибирь за поджог скирд старосты. Последние два года от него не было никаких вестей. В представлении нюдинцев Сибирь была земным адом, самым отдаленным краем света, сплошной снежной пустыней, где никогда не светит солнце, не зеленеет трава, куда не залетают даже птицы. Все были уверены, что рано или поздно Сибирь погребет

в своих бесконечных нетающих слегах кости их бедного односельчанина. И все эти десять лет жепя Рахмона встречала утро и провожала день плачем...

Вскоре Сосун и Шелбет ехали в фургоне, запряженном парой откормленных гнedyх. Хорошо укатанная дорога была еще мокра от предутренней росы. Сосун сидел на передке, держа в руках вожжи, а Шелбет, привалившись костлявой спиной к дощатому борту фургона, сосредоточенно жевал беззубым ртом хлеб и сыр, взятые из котомки Сосуна. В его кудей, уже позеленевшей от старости и сваявшейся бородке торчали мелкие соломинки: не имея постели, старик спал на соломенной подстилке.

За последние годы Шелбет еще больше похудел и почершел, всем своим видом он напоминал теперь прокопченную потрескавшуюся жердь. И лицо, и толкую шею сплошь прорезывали глубокие морщины, во рту у него не осталось ни одного зуба. Старик стал плохо видеть, но продолжал батрачить, чтобы заработать на хлеб.

Они ехали молча, каждый думая о своем. В утренней тишине отчетливо раздавался монотонный перестук колес. Потом Сосун ослабил вожжи, и кони пошли тихим шагом.

Кроме Рахмона, которого Сосун очень уважал, он больше всех любил и почитал старого Шелбета. Последние годы им часто приходилось работать вместе. Одинокiй старик и парень-сирота привязались друг к другу. Немало ночей они скоротали вместе на рыбалке. Часто, сидя у жаркого костра на берегу Григоринчая, Сосун встречал со стариком рассвет, слушая его сказки и легенды.

Одиночество Шелбета вызывало сострадание в душе Сосуна. Он не раз звал его перейти к нему жить, готов был как сын охрапать его покой и старость. Но гордый старик не соглашался, не желая никому быть обузой.

— Сейчас, дядя Шелбет, у нас в селе только и слышишь, как плачут бедные женщины — прямо сердце болит, — повернувшись к старику, с горечью произнес Сосун.

Шелбет старательно дожевал кусок, уложил остатки хлеба и сыра в котомку и вытер руки о подол своей грязной, заплатанной бязевой рубахи. Провожая рассеянным взглядом чинары, росшие вдоль дороги, он сердито сказал:

— Есть поговорка: «Беки дерутся, а у пукеров головы летят». Цари, падишахи ссорятся, а райят за это кровью своей расплачивается.

Старик отложил котомку в сторону, вытянул худые, иссохшие ноги и принялся неторопливо рассказывать Сосуну, как началась германская война.

Германский падишах, говорил Шелбет, пригласил в гости своего кунака — русского царя с женой. Как заведено, закатили пир на весь мир с зурной и барабаном. Вино лилось рекой, а сотни слуг едва успевали подавать разные кушанья. И вдруг пьяный германский падишах стал приставать к царице. Русский генерал, заметив это, на виду у всех влепил ему оплеуху. Тогда германский генерал стукнул русского генерала, за ними стали драться солдаты, которые охраняли падишахов. Потасовка переросла в большую войну. Войпа — это, конечно, не пьяная свалка на пиру, вместо кулаков пошли в ход сабли, винтовки, пушки...

Хотя эта история, не известно кем выдуман-

ная, напоминала собой паивную сказку, нягдинцы верили в нее, как, впрочем, и во многие другие хабары и небывлицы. Поэтому после рассказа старика Сосун принялся ругать и поносить всех властителей.

— Проклятые падишахи,— в сердцах воскликнул он,— едят, пьют и худа не чувят. Их бы заставить работать до семи потов за кусок хлеба, тогда не стали бы с жиру беситься.

Некоторое время они молча ехали вдоль железнодорожной насыпи. Погруженного в думы Шелбета начало было клонить ко сну, как вдруг со стороны Баку допелся шум приближающегося поезда. Спустя несколько минут, мимо них, стуча колесами на стыках, промчался товарный эшелон с солдатами в вагонах и пушками на открытых платформах. Один солдат, высунувшись из вагона и махая рукой, по-русски крикнул Шелбету:

— Дедушка, прощай!.. Едем бить немцев!..

Ни Шелбет, ни Сосун не поняли, что он сказал, но старик вскочил и прокричал в ответ:

— Да сохранит вас бог! Да будет проклят блудливый германский падишах!..

Батраки уже подъезжали к тому лесу, где собирались заготавливать шесты и бревна, когда в нескольких шагах от себя, прямо посреди дороги, увидели пожилого солдата. Он стоял, опираясь на деревянные костыли. Лоб и щеку его пересекал широкий шрам, вместо левого глаза зияла кроваво-красная впадина. На груди у солдата блестел Георгиевский крест. Весело улыбаясь, он единственным черным глазом выжидательно смотрел на сидевших в фургоне, а те в свою очередь с любопытством и недоумением уставились на незнакомца. Лошади оста-

повились сами, увидев человека, преградившего им дорогу.

— Родные, дорогие мои, неужели не узнали?! — дрогнувшим голосом крикнул солдат, и его изуродованное лицо, обросшее густой темной щетиной, искажилось страданием.

— Дядя Рахмон! — с радостным удивлением воскликнул Сосун, узнав его по голосу.

Он мигом спрыгнул на землю, с волнением подбежал к нему, поцеловал в щеку, почти-тельно прильнул губами к его плечу. Шелбет тоже, спеша и суется, сполз с повозки, шаткой старческой походкой подошел к Рахмону и поцеловал его. Они стояли и шумно разговаривали, смеялись, обнимали друг друга.

— Да что мы стоим тут посреди дороги, — первым сиюхватился Сосун, — пойдемте к повозке!

Сосун и Шелбет помогли Рахмону забраться в фургон.

— Провались Гомунл со своей летней конюшней, — проговорил Сосун. — Завтра посдем за лесом. — И он, стегнув лошадей, повернул обратно.

— О семье, дорогой, не беспокойся, — сказал Шелбет, как только фургон тронулся. — Жена твоя, слава богу, жива и здорова, дети и внуки тоже.

— А я сегодня утром, дядя Рахмон, вспоминал тебя, — весело блестя глазами, заговорил Сосун. — Я так рад, так рад, как будто родного отца увидел, клянусь богом.

— Спасибо, сынок, спасибо! — растроганно произнес Рахмон, глядя рукой больную ногу. — Тьфу, чтоб не сглазить, каким молодцом ты стал!

Когда они въехали в лес, остро запахло листьями, травой и сырой землей. В гуще деревьев, отбрасывавших на накатанную дорогу кружевные тени, звонко перекликались соловьи. Рахмон поднял голову, полной грудью вдохнул воздух. Его лицо, обезображенное малиновым шрамом, расплылось в широкой улыбке.

— Ах, как хорошо! — тихо, будто во сне, прошептал он.

— Мы, признаться, грешным делом, думали, что в Сибири давно гниют твои кости. А ты, дай бог тебе еще многие лета, оказывается, после Сибири успел еще повоевать... — почти-тельно глядя на крест, произнес старик.

— Что Сибирь! Сибирь не так страшна, как вы о ней думаете. Хорошо ли, плохо ли, а и там живут люди, и хорошие люди. Самое страшное сейчас — это война, — мрачно ответил Рахмон.

— Только что мы видели эшелон с солдатами и пушками, дядя Рахмон. Их тоже отправили на фронт? — спросил Сосун.

— А куда же еще, — произнес Рахмон. — Там каждый день гибнут тысячи здоровых людей. Вот им на смену и посылают новых, как скот на убой.

Сосун давно уже хотел, но все не решался спросить Рахмона, почему на груди его висит крест? Неужели он изменил веру и стал хоч-пересом? ¹ При всем уважении к Рахмону, этот крест вызывал в нем неприятное чувство. К тому же, Сосун опасался, что односельчане будут плохо относиться к нему, как к вероотступни-

¹ Хоч перес — поклоняющийся кресту, христианин.

ку. Но его удивляло спокойствие старика. Больше того, Сосун видел, что дедушка Шелбет время от времени уважительно взглядывал на крест.

Рахмон заметил недоумение юноши и понимающе улыбнулся ему.

— Это боевая награда, называется она — Георгиевский крест, — с нескрываемой гордостью объяснил он, затем весело добавил: — Получил я ее из рук самого главнокомандующего...

Сосун от удивления так и застыл с разинутым ртом, а старик Шелбет от этого известия точно поперхнулся. Поднеся сухой морщинистый кулак ко рту, он даже несколько раз с усилием кашлянул.

— Ничего тут особенного! Наградил — и все, — видя замешательство односельчан, произнес Рахмон, пытаясь придать своему лицу безразличное выражение. — Ну, ладно, коли вас это очень удивляет, давайте сначала покурим мою солдатскую махорку, а потом я расскажу вам, как все произошло.

Рахмон достал из кармана круглую жестяную коробочку с махоркой. Угостив Шелбета и Сосуна, он, не спеша, свернул сигарку. Закурили. Выпуская изо рта и поздрей горьковатый дым и весело глядя единственным глазом на старика и парня, Рахмон спросил:

— Ну, как табачок-то? Получше, чем наш самосад?

— Хорош, горло не дерет. Одно удовольствие курить такой табак, — похвалил Сосун, желая сказать Рахмону приятное.

— Да, на то он и казенный... — одобрительно отозвался старик, держа между дрожащими

морщинистыми пальцами дымящуюся самокрутку.

Лошади, опустив головы, шли размеренным, неторопливым шагом, отгоняя пышлыми хвостами слепней, которые сопровождали их от самого села. Щедрое июньское солнце ярко освещало все вокруг. Легкий ветерок приятно освежал путников, а желтые созревающие колосья на полях переливались волнами.

— Теперь послушайте, как это было, — произнес Рахмон, устраиваясь поудобнее и держа во рту сигарку, от которой поднималась над солдатской фуражкой легкая струйка синего дыма. — Есть в России такой город, называется он Гомель. После ранения лежал я там в лазарете, в палате для выздоравливающих. Однажды, глядим, наших врачей, фельдшеров и сестер милосердия точно оса укусила: они вдруг засуетились, забегали, лица у всех такие озабоченные, строгие. Но особенно волновался в тот день сам начальник лазарета, военный врач, высокий толстый мужчина с красной лысиной. Через каждые десять минут он, весь мокрый от пота, вбегал к нам в палату. Давая на ходу распоряжения врачам, сестрам и нянькам, тыкая пальцем в разные стороны, он опять исчезал. Не прошло и часу, как у нас все было прибрано, полы до блеска вымыты, стекла на окнах вытерты. Нам сменили белье, заправили как следует койки. Мы, солдаты, ничего не понимая, тихо перешептывались, высказывали разные догадки.

Вскоре начальник лазарета опять прибежал, тряся большим животом и на ходу вытирая красное распаренное лицо и лысину. Он еще раз оглядел помещение и, видно, оставшись до-

волен, объявил: «Братцы! Я очень счастлив сообщить вам: к нам прибудет сейчас сам главнокомандующий!..»

Уж не помню, как другие, но я, не скрою, очень испугался, хотя, сами знаете, и не из робкого десятка. Рахмон выбросил окурок, с улыбкой посмотрел на слушателей.

— И вот стою я, опираясь на костыль, возле своей койки, очень волнуясь. Вдруг в дверях палаты показался мужчина — невысокий, сутуловатый, с золотыми погонами. Бородка у него будто хной выкрашенная, глаза маленькие, зеленые и даже не злые. Клянусь богом, никогда не подумал бы, что это — главнокомандующий. А я представлял его себе совсем другим: грозным и свирепым. Вслед за ним вошли генералы, важные, дородные. У некоторых из них усы закручены, как рога у старого барапа...

Мы замерли у своих коек, а потом закричали «ура». Главнокомандующий едва заметно кивнул нам головой и чуть улыбнулся. Затем он вместе со своим адъютантом, очень красивым молодым генералом, отделился от других сопровождавших его людей. Они вдвоем стали подходить к каждому солдату и тихо о чем-то спрашивать. Потом генерал прикалывал солдату на грудь вот такой крест,— Рахмон скосил глаз на награду, которая, то и дело вздрагивая, качалась на ленте.— Подошла и моя очередь. Страх такого у меня уже не было. Но все равно, чего греха таить, немного боялся. Главнокомандующий, подойдя, кивнул мне головой, вроде желая сказать: говори, мол, и ты, кто такой есть. Я взял себя в руки и, по примеру других, доложил, какого звания, где служил, в каком бою получил ранение.

По моему выговору и внешности он, конечно, догадался, что я не русский.

— Откуда ты, солдат? — чуть слышно спросил он меня.

— Из Ньюгди! Ваше высокопревосходительство! — громко произнес я и, уже совсем расхрабравшись, добавил для точности: — Кюриинского округа!

Смотрю, что-то он нахмурился.

— Откуда, говоришь?

У меня сразу душа ушла в пятки, ноги подкосились. Думаю, провалился мой дом, осиротели мои дети: главнокомандующему, видно, не понравилось, что я родом из Ньюгди. А он, как на зло, не уходит, стоит, словно Азраил над душой, и смотрит на меня, ждет, пока я отвечу. А у меня совсем язык отнялся, не могу и слова выговорить, хоть убей. Комок подкатил к горлу, чувствую, вот-вот заплачу. Хотел было тут же повалиться ему в ноги, умолять: «Прости меня, несчастного, пожалей моих детей. А их у меня целая прорва... Жена моя, Майрам, постаралась... А то, что я поджег скирды старосты, так он сам довел меня до этого. Из-за него я потерял единственную корову и свой виноградник. Сам знаешь, у кого пропало добро — пропал и разум. И то, что я родом из Ньюгди, который, может, не по душе тебе, клянусь богом, я ни при чем. Деды наши основали его. Они давно спят в своих могилах и в ус не дуют, а нам, потомкам, за них надо расхлебывать...»

Пока я собирался упасть к ногам главнокомандующего и выложить все как на духу, начальник лазарета, спасибо ему, пришел мне на выручку. Он объяснил, что будто бы я, увидев

такого важного человека, от счастья лишился дара речи и что родом я с Кавказа.

Главнокомандующего, видно, это развеселило. Он улыбнулся и кивнул своему генералу. Тот подошел ко мне и сказал то же самое, что говорил другим солдатам:

— За верную службу царю и отечеству его превосходительство награждает тебя Георгиевским крестом!

И тут же приколот этот крест мне на грудь.

Рахмон на минуту умолк, полез опять в карман, достал жестяную коробку с махоркой. Угостив табаком Шелбета и Сосуна, закурил сам, затем продолжил свой рассказ:

— Главнокомандующий и молодой генерал раздали награды, отошли на середину палаты. Генерал сказал, что мы удостоились великой чести, получив ордена из рук самого главнокомандующего. Потом стал говорить, что немцы напали на Россию и мы должны воевать до тех пор, пока их не одолеем, велел не слушать большевистских агитаторов, которые подстрекают парод против царя, сеют смуту и будто этим помогают нашим врагам.

Вдруг один из наших товарищей по фамилии Русаков, потерявший на фронте правую руку, размахивая здоровой рукой, закричал на всю палату: «Не хотим воевать! Хватит вам пить нашу кровь!..»

— Смотри, какой молодец, а?! — с восхищением заметил Сосун. — Не побоялся сказать такое!

— Конечно, молодец! — кивнув головой, с улыбкой подтвердил Рахмон.

— Ну, ну, а дальше? — нетерпеливо перебил их дедушка Шелбет.

— А дальше...— начал Рахмон.— Все вдруг растерялись. Главнокомандующий и генералы тут же покинули лазарет. Но не прошло и пяти минут, как за Русаковым пришли жандармы и с пашками наголо увели его с собой...

Фургон уже подъехал к нюгдинским садам, за которыми виднелись серые плоские крыши домов. Чем ближе подъезжали к селу, тем больше волновался Рахмон. Он курил сигарку за сигаркой, беспокойно ерзал на месте, жадно оглядываясь вокруг, а рука с сигаркой заметно дрожала.

Перед самым въездом в село Сосун передал вожжи Шелбету и ловко спрыгнул на землю.

— Вы потихоньку поезжайте,— сказал он, радостно улыбаясь, а я побегу, сообщу тете Майрам о твоём приезде и получу от нее пипкеш.

И Сосун во весь дух помчался через село.

Свадьба

Часть обширного двора старосты, обнесённого со всех сторон высокой глинобитной оградой, занимал небольшой фруктовый сад. Вокруг него и между деревьями росли кусты ярко-красных, снежно-белых и огненно-рыжих роз, нарциссы, ромашки, гвоздика, хпа. По утрам, когда земля, мокрая от росы, ещё дышала свежестью, и вечерами, разомлевшие за день от жары, цветы источали дурманящий аромат. Посреди сада, возвышаясь над другими деревьями, стояло высокое ореховое дерево с пышной раскидистой кроной. Оно было старое, местами кора отвалилась, обнажив будто набитый гни-

лыми опилками толстый ствол. И все же богатырь-орех жил, держался крепко и выглядел среди других деревьев, как великан рядом с карликами.

Гомуил любил коротать время в тени этого дерева — посидеть, помечтать, а иногда просто вздремнуть на подушке с потухшим кальяном во рту. И сейчас он сидел на коврике, прислонившись спиной к стволу и скрестив ноги. Перед ним на скатерти стояла четверть розового вина, лежала закуска — жареное мясо и соленые овощи.

Короткий октябрьский день клонился к закату. Багровое солнце, в последний раз бросив на землю свои лучи и на мгновение ярким пламенем вспыхнув в окнах веранды двухэтажного дома Гомуила, скрылось за толстым слоем хмурых облаков, тяжело нависших над кромкой желтеющего леса. Сразу стало холодно и неуютно вокруг. Холодно и неуютно было и на душе старосты. Откуда-то доносилась мелодия — грустная, под стать его настроению. Гомуил догадывался, что это играет на зурне, в окружении своих многочисленных детей и внуков, а может, и соседей, его заклятый враг Рахмон. Однако, застыв в задумчивой позе, он невольно внимал печальным звукам, горестно кивая седой головой. Время от времени он тянулся к стоящей перед ним четверти, наливал вино и пил стакан за стаканом, почти не притрагиваясь к еде и не расставаясь с кальяном. Но и вино не оживляло его хмурое лицо.

Тягостные думы одолевали старосту. Поведать бы он о своих горестях и печалих кому-нибудь, но ни от кого не ждал ни сочувствия, ни утешения. Односельчане недолюбливали и боя-

лись его, бедняки родственники лебезили и заискивали перед ним, клялись его именем, а за глаза завидовали, желали ему разорения. Гомуил чувствовал себя одиноким и в родной семье. Первая жена, после того как он ввел в свой дом вторую — Гюзюргул, почти не разговаривала с ним. Да и Гюзюргул, надо сказать, не приносила ему радости.

Вот уже более четверти века живет он с Гюзюргул под одной крышей, склоняет голову на одну подушку, а ее совсем не интересуют ни дела, ни заботы мужа. На ее вечно пасмурном лице он редко видит улыбку и ни разу не слышал от нее ласкового слова. Гомуил делал все, чтобы завоевать любовь Гюзюргул, стереть в ее душе память о первом муже. Он не жалел ни денег, ни дорогих нарядов. Несмотря на свою необузданность и прирожденную грубость, старался быть с ней нежным, обходительным. Из любви к ней он как родной, заботливый отец относился к своему пасынку Шоулу. А когда тот подрос, не считаясь с расходами, отвез его в город, определил в гимназию, где он учился вместе с детьми аристократов и богачей.

Годы шли своей чередой, голову и бороду Гомуила посеребрила седина, а Гюзюргул оставалась такой же чужой и равнодушной к нему. Сейчас, как и в первые годы их совместной жизни, она, лежа с ним в одной постели, часто вздыхает о своем первом муже, посылает проклятия на голову его убийцы. Да и сынок ее тоже хорош, нечего сказать. Не впрок пошло ему учение. Молодой, красивый, образованный, вместо того чтобы служить, добиваться чинов, взять в жены себе какую-нибудь девушку из богатой семьи, наслаждаться жизнью, пошел

по кривой дороге, связался с безбожниками и смутьянами, угодил в тюрьму. Теперь который год от него нет никаких вестей.

Добро, которое он, Гомуил, хотел сделать Гюзюргул и ее сыну, обернулось злом против него же самого. Жена еще больше стала чуждаться его, вечно ходит хмурая, нередко упрекает мужа за то, что он отвез ее сына в город учиться и этим загубил ему жизнь. А теперь еще родной сын Эсеф так огорчил его.

Сегодня, когда он сидел на майдане и беседовал с аксакалами, ему, как на грех, захотелось напиться. В это время, сгибаясь под тяжестью полного водой кувшина, шла с родника Хонум, которую он в мыслях уже считал своей снохой. При виде ее лицо старосты расплылось в веселой улыбке. Он пальцем поманил девушку. Хонум, чуть прикрыв лицо платком, подошла к нему.

— Дай, дорогая невестушка, напиться из твоего кувшина, — по-отечески ласково произнес староста.

Но на этот раз девушка, вместо того чтобы обрадоваться и услужливо поднести ему кувшин, внезапно побледнела. словно забыв, где она находится, Хонум, задыхаясь, истерично закричала:

— Зачем, зачем ты, дядя Гомуил, насмехаться надо мной?! Не я, а дочь пастуха Ишмаила твоя невестка. Твой сын, как безумный Меджнун, тенью ходит за ней повсюду!..

Девушка покачнулась, веревка выскользнула из ее расслабленной руки, и кувшин, упав на землю, с грохотом разбился у ног ошеломленного старосты.

Гомуила точно вихрем унесло с майдана.

Полный беспокойства и гнева, староста поспешил домой. Он был до того потрясен, что не нашел ни слова утешения, ни слова упрека для девушки. Гомуилу не терпелось скорее увидеть сына, схватить его за шиворот, избить, излить на нем свою ярость. По дороге он вспомнил, как недавно чауш Илогу осторожно намекнул ему, что Эсеф ухаживает за сестрой его батрака Сосуна. Однако староста тогда не придавал этому особого значения. Он лишь усмехнулся и ответил поговоркой: «Мой гвоздь в стене другого дома». Но сейчас, вспомнив предупреждение Илогу, он не на шутку обеспокоился, как бы эта нищенка не вскружила голову его доброму, но слабовольному сыну и не спутала все карты Гомуила.

Староста сердито толкнул погой калитку и быстро проскочил во двор. Но, подойдя к дому и услышав голос Эсефа, который пел, подыгрывая себе на сазе, он на минуту задержался за дверью, невольно вслушиваясь в слова песни:

«О мой кипарис, парицей в сердце ты вошла,
Никогда другой не будет власть над ним дана.
Если прах мой, ставший глиной,
превратят в кирпич,
То любовь к тебе навеки сохранит стена...»¹

Гомуил, услышав песню, еще больше разозлился. Когда он вошел в комнату, Эсеф, увидев отца, смущенно умолк, пальцы застыли на струнах. Потом, точно спохватившись, он встал, повесил инструмент на гвоздь и почтительно отошел в сторону, молча ожидая, когда отец пройдет и сядет на свое место.

¹ Стихи Саади, перевод И. Гуровой.

Гомуил, остановившись у дверей, осуждающе и неприязненно посмотрел на сына. «Погоди, я возьмусь за тебя, выбью дурь из головы!» — мысленно пригрозил он ему.

Но, будучи человеком хитрым, расчетливым, он подавил свой гнев, решил не набрасываться сразу на Эсефа, а действовать соответственно мудрой поговорке: «Если хочешь поймать жеребенка, незачем кидать вверх папаху перед ним». Стараясь держаться как можно спокойнее, Гомуил медленно прошел туда, где на краю широкого ковра, покрывающего весь пол, был разостлан длинный полосатый матрас, и устало опустился на мягкую подушку. Затем, взглянув на сына, указал ему глазами место рядом с собой, пригласив сесть. Когда Эсеф сел, он, выждав немного, заговорил мягко, почти ласково:

— Я думал, сынок, ты сам или через своих друзей дашь знать мне или матери, что полюбил девушку и хотел бы жениться на ней. Но годы идут, а мы от тебя ничего подобного не слышим. Тебе уже двадцать первый год пошел. В твоём возрасте многие имеют детей, а ты все еще ходишь неженатым. Даже перед людьми неудобно. Я уже старик, да и мать тоже в годах. Пока живы, хочется повеселиться на свадьбе сына, понянчить внуков, а ты не спешишь доставить нам такую радость.

Староста умолк, посмотрел на Эсефа с грустной улыбкой. Выпуклые глаза его из-под кустистых бровей настороженно и испытующе следили за выражением лица сына. Эсеф слушал отца, низко опустив голову. Видя, что он молчит, Гомуил с облегчением подумал, что, пожалуй, у него не было и нет никаких серьезных

намерений в отношении Пери. Иначе он сказал бы сейчас об этом. Влюбленный как пьяный — что на уме, то и на языке. А Хонум просто ревнует. Конечно, если бы она не была единственной наследницей престарелого раби, Гомуил, который знал толк в женской красоте, ни за что бы не женил своего сына на этой образине, да еще, как видно, с дурным характером. Но он не допустит, чтобы наследство раби Шафада, которое он уже в мыслях считал своим, досталось другому.

Успокоенный и ободренный молчанием сына, староста счел этот момент самым подходящим, чтобы прямо и недвусмысленно сказать ему о своем решении.

— Раз, сынок, ты еще не сделал выбора, я сам приметил тебе девушку из хорошей семьи. Ты ее знаешь — это Хонум — дочь раби Шафада.

При упоминании имени Хонум лицо юноши вспыхнуло, на нем появилось выражение отчаяния и страха. Казалось, прошла минута, но Эсеф продолжал молчать.

— Что же ты, сын, молчишь? — с мягким укором спросил Гомуил, недовольно косясь на него. — Будь она плоха, недостойна тебя, разве я решился бы ввести ее в свой дом? Учти, сынок, она единственная наследница отца, который не сегодня-завтра, дай бог ему долгие годы, отойдет в другой мир, а, женившись на его дочери, ты будешь еще богаче.

Напряженно молчавший Эсеф первый раз за все время разговора поднял голову и посмотрел Гомуилу в глаза.

— Ты говоришь, отец, что женитьба на Хонум сделает меня богатым, — дрожащим от вол-

нения голосом произнес он.— А на что мне богатство без счастья?

— Богатство — это и есть счастье,— все еще надеясь убедить сына, заметил староста.— Последний бедняк и тот мечтает о богатстве. Если бы деньги не приносили человеку счастья, разве бы стал из-за них брат враждовать с братом, сосед ненавидеть соседа, а падишах посылать на падишаха свои войска?.. Что же, для тебя богатство ничего не значит?

По выражению лица сына, по его нетерпеливым, нервным движениям Гомуил понял, что все его слова бесполезны, и, уже не скрывая своей обиды и раздражения, добавил:

— Я вижу, красота сестры Сосуна вскружила тебе голову. Красота красотой, но Пери — нищенка. Да и не пристало нашей семье вводить в дом дочь пастуха. Ты меня опозоришь! Понимаешь ли ты это или нет?!

Эсеф, бледный и взволнованный, вскочил.

— Отец, прости меня,— с отчаянной мольбой сказал он.— Не люблю я Хонум, не люблю! Видеть ее не могу. А если ты не позволишь мне жепиться на Пери, я не знаю, что со мной будет... Убегу из дому, убегу куда глаза глядят!..

Глаза старосты палились кровью, а большие тяжелые руки сжались в кулаки.

— Во-о-он! Во-он! — закричал он в бешепстве и, вскочив с подушки, бросился на сына с кулаками.— Провались с моих глаз, пока я не задушил тебя, гаденыш!..

Эсеф, в страхе глядя на рассвирепевшего отца, бросился к двери и, открыв ее, пулей вылетел на улицу.

Услышав крики и угрозы Гомуила, из внут-

режней комнаты вышла Гюзюргул — женщина лет сорока пяти с каштановыми волосами и выразительными темно-кариими глазами.

— Что такое?! Что случилось? — спросила она Гомуила, который, мечась по комнате, продолжал бушевать, изрыгая проклятия.

— Твой сын собирается жениться на обормотке — дочери Ишмаила, вот что!.. — не глядя на жену и продолжая нервно шагать по комнате, кричал Гомуил. — И грозитя сбежать из дому, если я не разрешу ему жениться на ней, а о Хонум и слышать не хочет, негодяй!..

— Ах, вот оно что! Я-то думала, не дай бог, что-нибудь случилось страшное, — с облегчением вздохнула Гюзюргул. — Пусть женится на Пери, если она ему по душе. Девушка она красивая, здоровая, скромная. А жениться на Хонум, видно, ему не судьба.

Довольная улыбка на лице жепы, ее слова и спокойный тон, какими они были произнесены, вызвали у Гомуила еще большее раздражение. Его так и подмывало ударить жену, накричать на нее, сорвать на ней свою злобу. Но упрямый и самовластный староста, привыкший помыкать другими, навязывать всем свою волю, чувствовал себя перед этой уравновешенной женщиной с глазами раненой газели робким и безоружным даже в припадке ярости. Поэтому, сдерживая гнев, Гомуил лишь с горечью сказал, желая уязвить жену:

— Яблоко от яблони педалеко падает. Впдать, и ты, и сын из одного теста слеплены, не моя в нем закваска, не моя!..

Он вышел из комнаты, сильно хлопнув дверью.

...И вот сейчас Гомуил сидел под ореховым

деревом, таким же старым, но еще крепким, как он сам, и перебирал в памяти печальные события сегодняшнего дня, заливая горе вином. Мысль, что с женитьбой сына на ненавистной Пери он потеряет состояние раби Шафада, не давала ему покоя.

Уже начинало темнеть. Землю быстро окутывали ранние осенние сумерки. На небе зажглись первые звезды. Рахмон давно перестал играть на зурне. Не слышно было уже и мычания коров, верпувшихся в село. Все стихло. А староста продолжал сидеть под ореховым деревом, предаваясь своим невеселым думам.

— Эй, кто там? — вдруг сердито крикнул Гомуил.

На его зов из дома выбежала молодая босоногая девушка-служанка. Когда она подошла и с покорным видом остановилась перед хозяином, он, кивком головы указав на скатерть, приказал:

— Убери все это, а потом передай Гюзюргул, пусть возьмет обручальное кольцо, четверть вина и пару чуреков: мы пойдем сватать Пери, сестру Сосуна.

Когда Гомуил с женой пришли к Сосуну, брат и сестра сидели на полу, покрытом старым паласом, и ели свой скудный ужин. Увидев гостей, девушка зарделась, что маков цвет. Она вскочила с места, поспешно отошла в дальний угол комнаты и смущенно опустила голову. Встал и Сосун, немало удивленный и обеспокоенный их приходом. Он подумал, что староста и его жена не с добром пожаловали к ним. Сомнения, мучившие его последнее время, в одно мгновение превратились почти в уверенность, и он певольно метнул на сестру педовольный

взгляд. «А вдруг что-нибудь другое? — быстро пропеслось у него в голове. — Может, староста пришел сообщить, что не сегодня-завтра ему предстоит ехать в армию и что он, при всем своем старании, больше не в силах уберечь его, своего батрака, от мобилизации?» Ничем другим Сосун не мог объяснить себе неожиданный приход столь важных гостей. Но, повинувшись священному долгу гостеприимства, он заставил себя приветливо и радушно улыбнуться, сам принес матрас, постелил, приглашая их сесть. Гюзюргул, прежде чем сесть, вынула из-под тонкой шерстяной коричневой шали четверть с вином, два свежее испеченных чурека, положила их на скатерть. Затем она своей плавной походкой подошла к Пери, ласково взяла ее за подбородок, приподняла опущенную голову и, с улыбкой глядя девушке в лицо, сказала:

— Небось, когда моего сына видишь, ты так не вешаешь головы?..

Гюзюргул по-матерински обняла Пери, поцеловала и, подведя ее к скатерти, усадила рядом с собой.

Гомуил, устроившись рядом со своим батраком, исподлобья стал разглядывать Пери. Никогда он не видел ее так близко и сейчас вынужден был признать, что девушка на самом деле хороша собой, недаром покорила она сердце его сына. Но будь Эсеф умнее и практичнее, не стал бы он из-за одной красоты упускать наследство раби Шафада.

— Давай, жена, скажи им, с каким добрым делом мы пришли. Ведь вы, женщины, в таких делах красноречивее нас, мужчин, — проговорил Гомуил, с лукавой улыбкой поглядывая на Гюзюргул.

— А чего тут много говорить,— спокойно отозвалась Гюзюргул, снова обнимая Пери и притягивая ее к себе,— налей стаканы, благословим обручение этой красавицы с нашим сыном — и делу конец.

У Сосуна точно камень с души свалился. Он ждал позора, беды, а произошло такое, что ему и во сне не снилось. Он пружинисто вскочил на ноги, быстро подошел к нише в стене, прикрытой лоскутным запавесом. Взяв оттуда стаканы, Сосун вернулся к гостям и поставил их на скатерть.

Гомуил сейчас казался веселым и добродушным. Сосун первый раз видел его таким.

— Ну что ж, в народе говорят: «С женой советуйся, поступай наоборот». Но на этот раз я нарушу правило и охотно поступлю так, как того желает моя покорная Гюзюргул,— шутили-во заметил староста, разливая вино.

Мужчины подняли стаканы. Гюзюргул взяла руку Пери в свою, надела на ее палец золотое обручальное кольцо и поцеловала ее в щеку.

— Да будет благословен этот брак,— с торжественной взволнованностью произнесла она.— Да придут в наш дом вместе с невестой радость и счастье, да смиростивится грозный царь и отпустит на волю моего любимого сына Шоула.

— Аминь! — воскликнул Гомуил, и гости чокнулись с хозяином дома.

Гомуил вышел от Сосуна хмельной, в приподнятом настроении. Перед уходом он крепко пожал руку своему батраку, привлек к себе девушку, поцеловал в лоб и вложил ей в руку новенький золотой червонец.

Спустя две недели сонную утреннюю тишину над селом прервали веселые звуки зурны и барабанная дробь. Друзья Эсефа еще до прихода музыкантов подготовили в середине обширного двора старосты площадку для танцев. Они ее тщательно разровняли, утрамбовали, как ток, посыпали измельченной соломой. В разных концах двора кейвони¹ в новых шелковых гянджинских платках — подарок старосты по случаю свадьбы сына, варили на самодельных очагах в огромных медных котлах суп и плов, жарили на шампурах шашлыки. Вкусный аромат шел на всю улицу.

Двор старосты был полон гостей. Человек десять серпон² непрерывно подносили гостям вино, водку и всякие закуски. Опьяневшие и насытившиеся гости, многие из которых, быть может, еще несколько часов назад призывали на голову Гомуила тысячи бед и напастей, сейчас расточали ему безмерные похвалы. Они, чокаясь и перебивая друг друга, шумно превозносили щедрость старосты, называли его истинным мужчиной, провозглашали тосты за здоровье и счастье «весеннего соловья и цветущей розы», то есть жениха и невесты. Иные наконец охмелевшие сельчане похваливали Гомуила за то, что он, будучи богатым и знатным, женит сына на дочери пастуха и этим возвышает ее до себя.

В разгар свадебного пира в один фургон, запряженный тройкой лошадей, посадили жениха с тремя его близкими друзьями и музыкантов, а в другой — невесту с подругами и от-

¹ Кейвони — повариха (поварихи) на свадьбе.

² Серпон — люди, обслуживающие гостей на свадебном пиру.

правили на реку Григоринчай, где по обряду им полагалось выкупаться перед венцом.

Гомул велел Илогу вывести из конюшни оставшиеся двенадцать лошадей и раздать молодежи для сопровождения свадебного поезда. В челки и гривы лошадей вплели разноцветные ленты. По обычаю, мужчины, сопровождавшие жениха и невесту, на обратном пути от реки до села устраивали скачки. На лбу лошади всадника, первым прискакавшего в селение, торжественно разбивали сырое яйцо, а ему самому вручали приз — шелковый платок, вышитый невестой. Это считалось очень почетной наградой, и она будто бы сулила ее владельцу удачу.

Раздав юношам лошадей, хитрый Илогу оставил себе самого быстрого пятнистого иноходца, надеясь заполучить приз невесты.

Провожать свадебный поезд вышли почти все сельчапе. Судьей, который должен лично разбить яйцо о лоб коня победителя и вручить ему приз, был выбран Офдум Четверть Быка.

Под звуки торжественного марша и дружные крики «Ура!» молодые в сопровождении двенадцати всадников двинулись к реке. Многие сельчане остались на майдане, чтобы дожидаться возвращения свадебного поезда и узнать, кто из паездников придет первым, а остальные вернулись во двор старосты, где продолжался свадебный пир. Среди ожидавших на майдане сновали полупьяные серпои. Держа в одной руке кубки с вином, в другой — шампур с шашлыком, они подносили угощение гостям, отпуская в их адрес шутки, остроты.

Возвращения жениха и невесты пришлось ждать недолго. Не прошло и часа, как из-за

леса допеллись отдаленные звуки зурны и барабана, возвещающие о том, что сведебный поезд тронулся обратно в село. Вскоре у садов на окраине села показался пятнистый иноходец, стремительно мчавшийся вперед. Во всаднике все сразу узнали чауша Илогу, и у многих это вызвало разочарование. В толпе послышались возгласы, не очень лестные для него:

— На пятнистом иноходце и ребенок прискакал бы первым!

— Жаль, что этому рыжему черту достанется приз!

— Да чтоб он провалился!..

А Илогу, одной рукой потягивая на себя повод, чтобы придержать разгоряченного бегом коня, и радостно размахивая другой, кричал:

— Едут, едут!..

Судья Офдум, в правой руке держа наготове яйцо, а в левой — шелковый платок, степенно, с важным видом, подошел к деревянному мосту, перекинутому через канал, пересекавший село. Как только пятнистый иноходец ступил на мост, Офдум, старательно прицелившись, чтобы не промахнуться, бросил яйцо. Оно с треском разбилось на лбу лошади, залив липкой бело-желтой жидкостью ее левый глаз. Иноходец вдруг испуганно отпрянул назад, тревожно заржал, встав на дыбы. Под всадником не было седла, и он, потеряв равновесие, под дружный хохот собравшихся, сорвался с лошади и плюхнулся в воду. Гуси, спокойно и важно бродившие по берегу со своими выводками, увидев упавшего в канал Илогу, всполошились, громко и сердито загоготали. Угрожающе хлопая крыльями, вытянув длинные шеи, будто стрелы, пацеленные в сердце врага, они

с яростью набросились на неудачливого наездника и принялись немилосердно щипать его за нос, за рыжую бороду. А он, беспомощно барахтаясь в мутной холодной воде, яростно шлепая руками, дрыгая короткими ногами, отбивался от рассерженных гусей и орал так, словно на него налетела шайка разбойников. Вдобавок ко всему Офдум Четверть Быка стоял на краю моста, как Азраил над душой, и, держа в вытянутой руке приз невесты, с папускным недовольством кричал ему сверху:

— Слушай, имей совесть! Долго ли мне тут стоять и сохнуть, пока ты кончишь прохлаждаться и соизволишь подойти получить свой приз?!

Шутка Офдума вызвала новый взрыв смеха.

— Вы разве не видите, безбожники, они меня живьем съедают, эти проклятые твари?! — взорвался Илогу.

Тем временем один за другим уже стали подъезжать остальные всадники, вскоре показался и свадебный поезд. Встречающие дружной шумной толпой двинулись ко двору старосты, невесту и жениха развезли по домам.

Когда наступил вечер, жених в сопровождении друзей с музыкой и песнями явился за невестой. Пери, окруженную подругами, вывели из дома. На ней было пышное темно-зеленое платье, лицо прикрывал огромный белый шелковый платок, спускавшийся ниже колен. Две подруги вели невесту за руки, одна из девушек шла позади нее, держа в руке горящую лампу, другие несли подушки, посуду и все ее нехитрое приданое. Музыканты играли грустную прощальную мелодию «Горе матери — невесту увели».

Гомуил вместе со своими женами вышел к воротам встречать невесту. Он приподнял платок на лице Пери, поцеловал ее в лоб, затем дал по монете девушкам, которые вели ее под руки. То же самое сделали Гюзюргул и старшая жена Гомуила.

Илогу, который успел за это время сменить мокрую одежду, согреться у очага и взбодрить себя изрядной порцией водки, кружась возле хозяина, закричал, руками и спиной расталкивая гостей:

— Э-эй, шире круг, шире!.. Сейчас невеста будет танцевать!..

Пери вывели на площадку. Сначала с ней плясал жених. Гости, образовавшие плотное кольцо, дружно и громко хлопали. Друзья и родственники жениха совали деньги в руки невесте, бросали монеты в тарелку, стоявшую перед музыкантами. После жениха плясали с невестой Гомуил и его жены, затем ближайшие родственники.

Но вот староста, отстранив гостей, вышел на середину круга, предупреждая поднял руку, подавая сигнал музыкантам сделать передышку. Затем подошел к Пери, по-отцовски обнял ее за плечи, весело крикнул собравшимся:

— Хватит мучить мою невестку, теперь танцуйте без пес!

Когда Пери подвели к двери дома, кейвопп Эвшаг поднесла ей на блюдечке мед, обмакнула в него пальцы невесты и помазала ими приотолочку двери: чтобы жизнь ее в этом доме была сладкой. А одна из женщин под одобрительные и радостные возгласы гостей бросила на жениха и невесту горсть пшепа, желая тем самым

Молодым столько же потомства, сколько зерен упало на них.

Невесту ввели в комнату, отведенную для невесты и жениха на нижнем этаже, рядом с комнатой Гомуила. Прежде чем войти к невесте, Эсеф, как того требовал обычай, зашел к отцу. Взмолвленный и смущенный, он покорно опустился перед ним на колени, низко склонив голову.

— Отец-джап,— дрогнувшим голосом проговорил он,— за все обиды и огорчения, которые я волей и неволей причинил тебе в жизни, прости меня.

Староста в знак прощения подал сыну руку. Тот, продолжая стоять на коленях, обеими руками почтительно взял ее, припик к ней губами. Неожиданно ощутив спиной ласковую руку отца, он вдруг почувствовал себя маленьким, и губы его дрогнули. Растроганный его нежностью, он, как и в детские годы, уткнул голову в колени отца и заплакал.

— Ты что, ты что, сынок?! — смутился староста. Взяв Эсефа за плечи, он поднял его, поцеловал.— Я тебя, сынок, прощаю. Я сделал все, чтоб ты радовался, а не плакал,— произнес Гомуил, вытирая ладонью его слезы.

Затем староста повернулся к сыну спиной, подошел к нише в стене, где стояли два стакана, наполненные вином. В один из них, предназначенный для жениха, он незаметно высыпал серый, как дорожная пыль, порошок. Взяв оба стакана, Гомуил, радостный и сияющий, повернулся к Эсефу:

— Ну что ж, сынок, я счастлив, что бог сохранил меня до этого радостного дня. Я мечтал женить тебя, своего единственного сына,

пока видят мои глаза. Сегодня моя мечта исполнилась. А теперь, прежде чем ты войдешь к своей невесте, давай выпьем за ее здоровье.

Эсеф вспыхнул от смущения. Полный радостного волнения и благодарности, он чокнулся с отцом и выпил стакан до дна. Гомуил еще на несколько минут задержал сына. Он отпустил его лишь тогда, когда убедился, что порошок, разбавленный в вине, уже подействовал. Эсеф уже с трудом держался на ногах, глаза его закатывались, как у смертельно усталого человека, который силится, но не может бороться с одолевающей его дремотой.

Когда Эсеф, тяжело ступая по ковру и покачиваясь, вошел в комнату к невесте, она, ожидая жениха, сидела на постели.

Эсеф точно сквозь туман видел полураздетую Пери. На его курносом круглом лице блуждала пьяная блаженная улыбка. Он что-то невнятно пробормотал заплетающимся языком и в изнеможении опустился перед девушкой. Положив свою отяжелевшую голову на ее колени, Эсеф, словно погрузившись в пучину, тотчас же забылся мертвым сном.

Окровавленный платок

Проводив сына к невесте, Гомуил подождал несколько минут, затем вышел во двор. Среди гостей он отыскал Эвшаг, исполнявшую на свадьбе обязанности главной кейвони, и с необычной для него любезностью попросил ее пойти с ним в комнату. Пропустив старуху вперед, староста плотно закрыл за собой дверь, опустился на подушку и предложил Эвшаг

той же сесте, указав глазами место на ковре напротив себя. Когда она села, староста посмотрел на нее приветливо и ласково, краем уха прислушиваясь к музыке, пьяным нестройным голосам гостей, доносившимся со двора. Наконец Гомуил придвинулся поближе к кейвони и сказал ей тихим, вкрадчивым голосом:

— Эвшаг, ты должна выполнить одно мое поручение.

— Я рада служить тебе, Гомуил, — с готовностью ответила Эвшаг, склонив набок голову, повязанную новым шелковым платком, подаренным ей Гомуилом как главной кейвони.

— Будь енге для молодых. Со стороны невесты енге не прислали. Ее брат доверяет нам, а со стороны жениха енге будешь ты.

Старуха была польщена предложением старосты. По обычаю, в день свадьбы к новобрачным приставляли енге — женатого мужчину и замужнюю женщину, чаще всего пожилых. Жених и невеста должны были в тот же вечер вручить енге окровавленный платок — знак целомудрия невесты, чтобы его показали гостям. Быть енге считалось почетным делом, выражением большого доверия.

— Сколько раз я за свою жизнь была енге — даже и не помню, — похвасталась Эвшаг. — Почему бы мне не услужить и твоему сыну. Только... — она, выдержав паузу, с хитрой улыбкой посмотрела на старосту, — услуга за услугу: не забудь приготовить для меня хороший подарок.

Гомуил кивнул головой и, как можно спокойнее и любезнее, с парочитой медлительностью проговорил:

Если ты согласна, за подарком дело не

станет. Я тебе подарю не какой-нибудь платок, а...

Староста энергично и торопливо засунул руку в карман бешмета, вытащил бусы из чеканных золотых монет и, улыбаясь, поднял их, дразня старуху, как голодную кошку мясом.

Блеск золота словно ослепил Эвшаг. Жадно загоревшиеся глаза ее от волнения часто заморгали, на круглых щеках выступил румянец. Она представила себе, как будет важно ходить на виду у всего села с этими дорогими бусами на шее, вызывая удивление и зависть женщин. А три ее невестки будут заискивать перед ней, стараясь в этом превзойти друг друга, каждая в надежде, что свекровь именно ей подарит их или завещает перед смертью.

Не дав Эвшаг опомниться, староста вложил бусы в ее раскрытую ладонь и, приблизив свое лицо к уху старухи, оглуевшей от неожиданного привалившего счастья, прошептал:

— Вынеси к гостям чистый платок и объяви им... — Гомуил не договорил, полагаясь на сообразительность Эвшаг. Но она недоуменно, с бессмысленной улыбкой смотрела на старосту, крепко сжимая в руках драгоценный подарок.

Когда Гомуил, досадуя на Эвшаг, объяснил, что от нее требовалось, она испуганно вздрогнула, рука ее сама собой разжалась и бусы, которые старуха мысленно уже надевала на шею, змейкой сползли с раскрытой ладони на пестрый ковер.

— Слушай, Гомуил, — с тревогой прошептала она, — к чему такая ненужная поспешность?! Может, какой-нибудь злой человек завязал энгол, поэтому...

Все плетницы знали, что если завязать эгюл — узел на платке или бечевке в тот момент, когда жених входит к невесте, то молодые не смогут соединиться, пока он не будет развязан.

Вот об этом и напомнила Эвшаг Гомуилу, но он резко оборвал ее:

— Не учи меня. Делай, как я говорю! Вынесешь чистый платок и объявишь гостям, что яблоко надкушено. Ты меня поняла?

Эвшаг торопливо встала и в испуге вскинула руки, словно защищаясь от него.

— Что ты, что ты, Гомуил, опомнись!.. — попятившись, прерывающимся от волнения голосом произнесла она. — Я стара, одной ногой стою в могиле... Нет, нет, не пойду я на такое злодейство. И тебя прошу, побойся бога, не губи невинную девушку-сироту. Я готова бросить свой платок к твоим ногам, лишь бы ты не сделал этого¹.

Эвшаг подняла дрожащую руку, но Гомуил порывисто вскочил и сердито крикнул:

— Не снимай платок! Не хочешь — нево-
лить не буду. — Подойдя к ней и сверля ее ненавидящим взглядом, угрожающе добавил: — Но если ты хоть одним словом обмолвишься о нашем разговоре, то смотри у меня, не сдобровать ни тебе, ни твоим сыновьям. А теперь убирайся вон!

— Хорошо, милый, хорошо, дорогой, пове-
шу замок себе на рот и буду молчать, — по-
спешила ответить испуганная старуха.

¹ Бросить платок к ногам мужчины у татов считается крайним выражением мольбы со стороны женщины. В таких случаях, если мужчина дорожит своей честью, он не должен отказать женщине в ее просьбе.

Когда Эвшаг ушла, Гомуил несколько минут ходил взад вперед, пейстово дымя кальяном и мысленно ругая старуху. Пьяные голоса гостей, доносившиеся снаружи, сейчас раздражали его. Староста не заметил, как скрипнула дверь и в комнату вошел Илогу. Пьяно улыбаясь, он посмотрел на него.

— Пришел ашуг, поет о любви Лейли и Меджнуна. Здорово поет, чертов сын, такой голос, такой голос...

Гомуил продолжал ходить по комнате, не обращая внимания на чауша. Заметив, что хозяин чем-то сильно озабочен, Илогу с удивлением спросил:

— Что-нибудь случилось?

Гомуил сердито обернулся и хотел отмахнуться от него, но вдруг, точно осепенный какой-то мыслью, остановился, на бородатом лице его появилось подобие улыбки. «Дурак я старый, — мысленно выругал он себя. — Связался зря с проклятой старухой!.. Как мне раньше не пришло в голову поручить это дело моему верному чаушу?..» Гомуил так обрадовался, что едва удержался от желания обнять его.

— Вот что, Илогу, — положил он тяжелую руку на плечо приземистого чауша. — Ты будешь енге для новобрачных.

Гомуил достал из нагрудного кармана своего беспшмета вчетверо сложенный чистый новый платок и протянул Илогу. Тот с довольной улыбкой взял его и радостно хихикнул, обнажив редкие острые зубы. Но узнав, чего от него хочет староста, он со страхом и мольбой посмотрел на своего хозяина.

— И ты отказываешься, неблагодарный?! — рассвирепел Гомуил. Он грубо толкнул чауша

к двери.— Иди сейчас же к гостям и сделай, как я тебе приказал, слышишь?!

Илогу на какую-то долю минуты задержался у двери, словно надеясь, что староста еще одумается. Но услышал за спиной раздраженный окрик:

— У тебя ноги, что ли, отнялись?! Выйди сейчас же и объяви!..

Илогу как в тумане видел веселившихся во дворе гостей, ашуга с сазом в руках...

Несколько минут он в нерешительности стоял, сжимая в ошущенной руке платок. Но за дверью, в своей комнате ждал Гомуил... И чауш с видом человека, очертя голову бросающегося в опасный водоворот, взмахнул над головой белым платком и громко крикнул:

— Эй, люди! Смотрите сюда! Вот платок невесты! Эй, люди...

Если бы сейчас возвестили о том, что на село идет дикая орда и что жизнь каждого из гостей в опасности, наверно, это известие не вызвало бы такого замешательства, как слова Илогу. Люди сначала остолебенели. Потом все сразу засуетились, забегали, натываясь друг на друга, точно слепые. Оборвалась песня ашуга.

Через несколько минут во дворе не осталось ни души. Гости будто волной смыло. Тотчас же с крыши дома раби Шафада раздались гулкие звуки ударов и торжествующие крики его дочери:

— Эй, люди! Выходите все на томоше¹! У Пери, сестры Сосуна, нет окровавленного платка!..

¹ Т о м о ш е — зрелище.

Она, как ведьма па шабаше, освещенная призрачным светом луны, кружилась на крыше в неистовом плясе, возвещая о позоре соперницы, и размеренные удары скалкой о медный таз, которыми она сопровождала свои призывы, слышались во всех концах села.

Гомуил с перекошенным от ярости лицом ворвался в комнату, где находились жених и невеста.

— Шлюха! Бесстыдница! — дико заорал он на ошеломленную девушку. — Вон из моего дома! Посмотри, что происходит в селе!.. Все говорят о твоём позоре! Они требуют вывести тебя!..

Жених, сраженный лошадиной дозой спотворного зелья, лежал точно мертвый. Пери, дрожа всем телом, в ужасе подняла глаза на озверевшего старика. Ей показалось, что он сошел с ума. Но не прошло и минуты, как чьи-то руки схватили ее и с силой выволокли во двор на поругание возбужденной, бурлящей, пьяной толпе.словно из-под земли вырос перед ней черный ишак — символ безграничного позора и несчастья. Те же грубые и безжалостные руки подняли ее и посадили на него лицом к хвосту. Перед глазами Пери блеснул кинжал, она вскрикнула от боли, когда ей отрезали косу — украшение и гордость девушки.

— Музыканты! — раздался громкий голос Гомуила, в котором прозвучало скрытое торжество. — Сыграйте ей «Обратный марш»! Пусть скорее уведут эту дрянь с моих глаз!..

Пери никак не могла понять, что же происходит вокруг, что творится с людьми? Почему Гомуил, который всего лишь час-два тому назад сердечно и радостно обнимал ее, как род-

ную дочь, сейчас — грубо оскорбил, обозвал самыми постыдными словами? Почему народ кричит, улюлюкает, бросает в нее комья грязи?..

Ей все это казалось каким-то кошмарным сном.

— Эй, люди! Все от мала до велика выходите на томоше! Это для Пери, сестры Сосуна, играют «Обратный марш»! Эй, люди!..

Где она слышала этот голос, где?.. Ах, да! Это же Хонум!.. Но почему ей должны играть «Обратный марш»? Почему, ведь она певинпа?!

Голова Пери все ниже склонялась па грудь. Вдруг перед глазами девушки все поплыло, закружилось, и она, покачнувшись, едва не упала с ишака. Но какие-то люди, пьяно и нагло хохоча, грубо схватили ее, удержали. Один из них несколько раз ударил ее по лицу отрезанной косой.

Какой-то внутренний голос настойчиво твердил ей: «Зачем ты позволяешь везти себя, как ягненка на заклание? Кричи, кричи на все село, что тебя очернили, оклеветали, клянись — народ поверит! Пусть на твой голос эхом откликнутся леса и овраги, пусть от твоего крика дрогнут земля и небо...» Но язык не повиновался ей, словно прилип к гортани. Где же Эсеф, ее любимый?! Не он ли так клялся ей в любви и верности? Почему же он не идет, не спасает ее от позора, а может, и смерти?!

Мгновенно Пери представила себе, как брат заносит над ней кинжал... Она в ужасе вскрикнула, закрыла лицо руками и, лишившись чувств, упала на землю.

...Сосун сидел в комнате, сразу словно ослепевший после ухода сестры. Его немногочис-

ленные гости, сопровождая невесту, отправились в дом жениха. Ему было и радостно, и в то же время очень грустно, в ушах еще звучали прощальные слова сестры:

— Горе мне, брат, как же ты теперь будешь без меня? Кто разделит твое одиночество, приготовит тебе пищу, встретит тебя у порога?

Сосун едва сдерживал слезы. Ему сейчас хотелось прилечь, закрыть глаза и ни о чем не думать. Но, боясь, что незаметно уснет, он встал и начал ходить по комнате. С минуты на минуту должен был появиться еще с вестью о невинности невесты и, как принято в подобных случаях, получить от него подарок.

Вдруг Сосун услышал беспорядочные крики, режущие слух звуки зурны и барабана. Они приближались, нарастали.

Удивленный, ничего не подозревающий Сосун вышел во двор, чтобы узнать, что происходит, и у плетеной калитки столкнулся носом к носу со старухой Эвшаг, которая с трудом переводила дух. Увидев Сосуна, она упала перед ним на колени.

— Это твоей сестре играют «Обратный марш»!.. Но клянусь богом и памятью своих покойных, твоя сестра не виновата, ее оклеветали!.. — разом выпалила старуха и умоляющим голосом добавила: — Заклинаю тебя, не бери грех на душу, не поднимай на нее руку!..

Сосуна будто обдали кипятком. Глаза его вспыхнули яростью. Он быстро нагнулся, встряхнул ее за плечи.

— Рассказывай скорее, что ты знаешь!..

Эвшаг поднялась и, опасливо озираясь, прерывающимся от волнения голосом, коротко передала свой разговор с Гомуилом.

Эвшаг ушла. Сосун стоял, словно оглушенный громом. А тем временем процессия, сопровождаемая пепстовыми криками и пронзительпо-визгливой музыкой, медленно приближалась ко двору. Сосун бросился в дом и в ту же минуту выскочил из него с обнаженным кинжалом. Пробираясь пустынными, безлюдными закоулками, он подошел к глинобитной ограде, окружавшей дом старосты. Легко перемахнув ее, перебежал опустевший двор, который недавно был полон гостей, где царило веселье, провозглашались тосты за жениха и невесту, звучала песня ашуга.

Подойдя бесшумно к двери комнаты Гомуила, он с силой толкнул ее. Староста сидел и спокойно покуривал кальян. Но когда он увидел разъяренного Сосуна с кинжалом в руке, кровь отхлынула от его лица, кальян выпал изо рта.

Вскочив на ноги, Гомуил прижался спиной к стене, не сводя испуганного взгляда с угрожающе блестевшего кинжала.

— Что тебе надо? — с трудом выговорил он.

— Где твой сын? — заслопив дверь спиной, спросил Сосун, дрожа от гнева.

— Его нет дома, он убежал, не выдержав позора, — запинаясь ответил Гомуил.

— Ста-а-рый пес!.. Я сейчас с тобой расквитаюсь за все!.. — сверкнув глазами, Сосун пошел на старосту.

Охваченный предсмертным страхом, тот шархнулся в сторну и с громким криком кинулся в соседнюю комнату.

— Эсе-е-еф!.. — завопил он.

Сосун бросился за ним, не давая ему закрыть дверь.

Жених, подобрав колени к животу и положив ладонь под щеку, спал мертвецким сном. Лицо его выражало полное умиротворение и блаженный покой. Он тихо улыбался во сне. Может быть, в эту самую минуту ему снилась Пери?..

Увидев безмятежно спящего жениха, Сосун левой рукой резко схватил его за ворот рубахи и приподнял с постели. Голова Эсефа бессильно повисла, а из стесненной груди вырвался глубокий вздох.

— Он сильно пьян, он без сознания, не трогай его! — взмолился староста, забившись в угол и со страхом глядя на Сосуна.

Тот швырнул Эсефа на смятую постель и взмахнул кинжалом. В тот же миг Гомуил, раскинув руки, с отчаянным криком «Сы-ы-ын мо-о-ой!» бросился вперед, прикрыл Эсефа своим телом и тут же, дико взревев, осел на пол, обливаясь кровью...

Странный разбойник

В полукилометре от Нюгди расположено небольшое село Молла-Халил. В нем издавна жили азербайджанцы и лезгины. На окраине села по сей день возвышается старинная армянская церковь, построенная из добротного тесаного камня, с железным куполом, увенчанным большим золоченым крестом. От церкви простирается широкая зеленая поляна, окруженная со всех сторон густым лесом. Возле самого здания — узкий, но глубокий арык, заросший по краям камышом и кустарником. По дну его с тихим журчанием течет прозрачный род-

никовый ручеек. Чтобы попасть в храм, надо перейти железный мостик с ажурными чугунными перилами. Он, видимо, построен руками тех же неизвестных мастеров, которые возвели церковь с высоким сводчатым потолком и маленькими зарешеченными окнами.

Южнее этих двух соседних сел — Молла-Халил и Нюгди, примерно в трех километрах от них, в районе Семи родников находится большое армянское кладбище. Высеченные на могильных камнях армянские письмена почти стерлись и покрылись ржавым мхом. Местами кладбище заросло дубняком. Деревья, широко раскинув свои густые кроны, охраняют вечный сон погребенных здесь, оберегая их могилы от разрушительного действия зноя, ветров и дождей.

Два раза в год, весной и осенью, кладбище оживает: вокруг старинных могил разрастаются какие-то пышные, ярко-зеленые растения. Наверное, здесь когда-то высаживали цветы, которые потом одичали.

Еще в начале века для многих армян, живших в древнем Дербенте, церковь в Молла-Халиле и кладбище в районе Семи родников были местами паломничества.

Почти ежегодно, обычно весной или в начале лета приезжал сюда с женой и двумя детьми набожный армянин Пагос. У стен церкви, на краю поляны, где протекал ручеек, они разбивали шатер; как заезжие цыгане, варили пищу на самодельных очагах. Три дня семья Пагоса дневала и ночевала здесь, молилась под гулками сводами огромной пустой церкви с голыми стенами, посещала армянское кладбище, а затем уезжала обратно в Дербент.

Очень часто любопытные нюгдинские парни приходили сюда послушать молитвы и песни армянских паломников. Мертвые стены храма, эхом повторяя голоса певцов, будто сами обретали голос, казалось, в них обитают невидимые духи. Полная неизбывной тоски и горькой печали, нежной грусти и горячего призыва, гневного протеста и отчаянной мольбы, песня была рождена страдающим человеческим сердцем. Ей становилось тесно под высокими сводами храма, и она, вырываясь из открытых железных дверей, плыла, как волна, над тихой зеленой поляной, застывшим в глубоком молчании лесом, проникала в самую душу человека.

А некоторые молодые нюгдинцы приходили сюда просто поглазеть на красивых армянских девушек, которые в отличие от их односельчанок при виде чужих мужчин не отворачивались, не прятали глаза, а держались непринужденно, смотрели свободно и гордо. Не одно податливое молодое сердце было ранено красотой юных армянских паломниц. Поэтому нередко после их отъезда нюгдинские парни пели нежную и грустную песню о перелетной птице-журавле:

Ты край наш покинул, журавль,
Да будет счастливым твой путь.
О, ты улетел, мой журавль!
И песней тебя не вернуть...

Хотя жители Нюгди и Молла-Халила относились к армянам-паломникам приветливо, но в гости к себе приглашали редко и не очень охотно. Причиной было то, что армяне ели свинину, одно лишь упоминание о которой вызывало у местных жителей неприятное чувство. Поэтому паломники, как правило, приезжали с

собственной провизией, привозили с собой живых баранов, бурдюки с вином, муку, рис, посуду.

Теплым майским днем ехал Пагос в Молла-Халил. Безмятежную тишину нарушал лишь монотонный перестук колес. Легкая зыбь пробегала по еще зеленой пшенице. За пшеничными полями пестрым ковром расстилались сочные луга. Белоснежными облачками выделялись среди деревьев цветущие кусты терна, алычи, дикой груши и яблони, которыми изобилуют нюгдинские леса. Воздух был напоен ароматом трав и цветов.

Лошадью управлял сам Пагос, тучный человек лет пятидесяти с крупными чертами лица. В одной руке он держал вожжи, в другой — короткий кнут, которым время от времени подгонял смирную и усталую пегую лошадку. По случаю торжественного выезда, Пагос, несмотря на припекавшее солнце, надел новый черный сюртук. На арбе, спиной к нему сидела жена, худая смуглая женщина с тонкой шеей и огромными черными глазами. Дочь Пагоса — белолицая, чернобровая девушка лет восемнадцати с длинными черными косами пристроилась возле матери, прислонившись к туго набитому серому мешку, верхом на котором сидел ее брат, подросток лет шестнадцати, в форме гимназиста. Девушка, хотя и не в первый раз приезжала сюда, глядела на все вокруг зачарованными глазами. В отличие от нее, мальчик держался спокойно, со сдержанным любопытством смотрел по сторонам.

В это же время Сосун одиноко брел по лесу. Под ногами шуршали прошлогодние листья, потрескивали ветки. В правой руке он держал

старое двуствольное ружье, на поясе у него висел широкий кинжал в деревянных ножнах без кобухи. Темная черкеска его была изодрана, брюки, затянутые снизу жесткими портянками из грубой бязи, сплошь покрыты заплатами. Вот уже восемь месяцев Сосун скрывался в лесу. В тот страшный день он думал, что убил Гомуила, сполна отплатил своему кровному обидчику. Но староста выжил. Правда, ходил теперь с искривленной шеей. Одно плечо его было опущено, как крыло раненой хищной птицы, голова поминутно дергалась. Гомуил очень постарел, борода его побелела. Но своего он добился: оклеветав и опозорив Пери, заставил Эсефа жениться на нелюбимой Хонум.

Оправившись от тяжелой раны, Гомуил еще больше приблизил к себе Илогу. Чтобы тот постоянно находился при нем, он отвел ему у себя во дворе однокомнатный саманный домик. Вместо одной дворовой собаки, староста завел двух лохматых волкодавов. С наступлением вечера нягдинцы старались стороной обходить двор старосты, опасаясь его свирепых псов и нередко с горечью вспоминая известную поговорку: «Собака всегда похожа на своего хозяина».

Окружному начальству в Касумкенте Гомуил расписал происшедшее как злонамеренное покушение на его жизнь за ревностное служение властям. Старосте и его чаушу выдали для самозащиты боевую пятизарядную винтовку и по одному револьверу на каждого с солидным запасом патронов. Гомуил теперь никуда не отлучался без Илогу, который, как верный пес, следовал за ним повсюду.

По просьбе старосты окружное начальство раза три снаряжало в Нюгди жандармов, чтобы изловить «разбойника и бунтовщика» батрака Сосуна. Каждый раз, когда в село приезжали «стражи порядка и закона», Гомуил обильно угощал их, обещал солидную сумму за поимку беглеца, и они, точно голодные гончие, раздраженные запахом свежего мяса, усердно рыскали повсюду, но безуспешно. Стоило им появиться в селе, как жители через сестру предупреждали Сосуна о грозящей ему опасности, и он успевал надежно укрыться.

Гомуил жаждал мести. К тому же он боялся Сосуна и стремился во что бы то ни стало избавиться от своего врага. Но встревоженный безрезультатными поисками, Гомуил все больше проникался страхом за свою жизнь и жизнь единственного сына. Ни преданность Илогу, ни злые псы во дворе, ни ружье, с которым он не расставался даже ночью, ложась спать,— не вносили успокоения в его душу. Он часто видел сны, полные страхов и ужасов.

С невыразимой горечью думал он о безвозвратно уходящих счастливых временах, когда богатые и знатные спокойно наслаждались жизнью. А теперь все рушилось на глазах. Всего два-три месяца назад в столичном городе Петербурге бунтовщики опрокинули, казалось, такой неприступный трон русского царя. Правда, у них, слава богу, внешне пока все по-прежнему: сохранились те же порядки в округе и в городе, да и начальство почти все осталось старое. Но дух непокорности, как зараза, охватывал всю бедноту. Даже здесь, в этой глухой, отрезанной от мира дыре — лесном селении Нюгди, где люди жили, как рыбы в мутной во-

де, ничего не видя и не понимая, многое изменилось. Взять хотя бы этого каторжника одноглазого Рахмопа. Он по-прежнему бедняк из бедняков, однако пользуется большим уважением среди односельчан. Теперь на майдане люди часто собираются вокруг него, жадно слушают его рассказы, а в присутствии старосты неловко замолкают. В глазах иных односельчан Гомуил чувствовал даже открытую ненависть.

Преступника Рахмопа считают чуть ли не героем, как будто он совершил подвиг, поджигая его скирды. Его Георгиевский крест и знание русского языка совсем вскружили им головы. До чего дошло: голодранцы настолько обнаглели — самовольно заготавливают дрова в его лесу, а завтра, того и гляди, пустят волов с плугами на его поля.

Гомуил надумал было перебраться с семьей в город, пока все не утрясется, не станет на свое место, а хозяйство оставить на Илогу. Но от этой затеи пришлось отказаться. Он знал, что нюгдинцы без него заключают чауша, съедят его живьем. Да этот трус и сам, если почувствует серьезную угрозу, убежит из села, спасая свою шкуру. Тем более у пройдохи нет в Нюгди никого и ничего, что могло бы его удержать: ни жены, ни детей, ни родственников, ни земли. И потом, переехать в город, хотя бы даже на время, значило бы наверняка потерять должность старосты, с которой расставаться не хотелось. Он привык к почету и власти, ради того, чтобы сохранить их, готов был на все.

...В первые дни после бегства из родного села Сосун нашел себе приют в доме лезгина Гасана, у которого было много кунаков-друзей

среди нюгдинцев. Выбрав ночь потемнее, Гасап проводил беглеца на кутан, расположенный в пойме Григоринчая. Здесь, на кутане, среди чабанов были его сын и два племянника.

Лезгины с уважением относились к человеку, ставшему гачагом¹, будь то из-за кровной мести или из-за ссоры с властями. Поэтому, когда старик Гасан привел Сосуна и попросил их отнестись к нему, как к своему человеку, те охотно приняли его, подарили ему старое ружье и снабдили патронами. Ночевал Сосун вместе с ними в землянке. Лезгины заботились о безопасности своего кунака, считая делом чести оберегать его.

Гомуил подозревал, что чабаны скрывают беглеца, поэтому он не раз посылал к ним своего чауша в надежде выследить Сосуна, обещал им деньги, подарки, если они выдадут его живым или мертвым. Чабаны каждый раз радушно принимали Илогу, словно почетного гостя, угощали свежим каймаком и сыром, удивленно цокали языком и восхищенно покачивали головами, слушая соблазнительные посулы, какими счастливыми обладателями дорогих пипкешов могли бы они стать, если бы им удалось схватить батрака. Они уверяли, что после таких обещаний во что бы то ни стало выследят его и выдадут властям, конечно, если Гомуил, как мужчина, сдержит свое слово. А Илогу каждый раз, чувствуя неискренность чабанов, возвращался от них безо всякой надежды на успех.

Чтобы не навлечь подозрения на своих покровителей, Сосун последнее время старался

¹ Г а ч а г — беглец, разбойник.

не оставаться на кутане, а целыми днями бродил с ружьем по лесам и полям. Он истосковался по дому, друзьям-односельчанам. Иногда, заметив крестьян, работающих в поле где-нибудь вдали от проезжей дороги, он осторожно подходил, отводил в разговоре душу, работал с ними. Время от времени Сосун глубокой ночью пробирался в селение, чтобы навестить одинокую сестру, судьба которой его больше всего беспокоила: иссякал небольшой запас зерна и муки, оставленный дома еще до побега. Единственную корову, которую несколько лет назад дал ему староста, тот отобрал обратно. Все эти восемь месяцев Сосун не работал, не пахал, не сеял, он с тревогой думал о том, что скоро наступит время, когда сестра совсем останется без куска хлеба. К тому же Илогу требовал, чтобы Пери внесла в казну подушный налог, грозился отобрать у них последние пожитки. А где взять денег?..

Тягостные думы одолевали Сосуна в этот погожий майский день. Не зная, что предпринять, он в раздумье брел по лесу. Вдруг он поднял голову и стал прислушиваться: недалеко раздавался монотонный перестук колес. Через лес проходила дорога, которая вела в его родное село и дальше — в Молла-Халил. Сосун сразу насторожился. Боясь, что его могут увидеть, он лег на землю среди кустов, за толстым стволом старой раскидистой чинары, стоявшей в нескольких шагах от дороги: если едут односельчане, то он остановит их, поздоровается, поговорит, а если чужие, постарается остаться незамеченным, как он обычно делал в таких случаях.

Спустя несколько минут Сосун уловил об-

рывки разговора, смех. Люди, ехавшие на арбе, говорили на каком-то непонятном ему языке. Забыв об осторожности, он встал на колени и поверх кустов пристально посмотрел на дорогу. На арбе сидели, беззаботно и весело переговариваясь между собой, празднично одетые армяне. Когда они приблизились к нему на расстояние пяти-шести шагов, Сосун вышел из-за дерева и преградил им дорогу. Направив на Пагоса ружье, он приказал остановиться.

Побледневший старик с силой дернул на себя вожжи. Усталая лошадь сразу стала, мотая головой, словно кланяясь разбойнику. Дочь Пагоса, увидев человека в мохнатой папахе с ружьем, направленным на отца, с длинным кинжалом на поясе, издала пронзительный крик и, закрыв лицо руками, упала головой на грудь оцепеневшей матери. Не потерялся только мальчик. Он проворно запустил руку под мешок, чтобы достать спрятанный там пистолет, но встревоженный отец, догадавшись о его намерении, обернулся и сердито крикнул, угрожающе взмахнув коротким кнутом:

— Вардан, не смей, щенок!..

— Не надо, не надо, сынок, заклинаю тебя всеми святыми! — едва приходя в себя, взмолилась перепуганная мать.

— Что тебе, сынок, от нас, мирных паломников, нужно? — с мягким укором в голосе спросил Пагос, стараясь казаться спокойным.

— Отдай мне твой бобожник! ¹ — потребовал Сосун.

¹ Б о б о ж н и к — бумажник.

— Отдай, папа, отдай! — обратилась к отцу девушка.

Мальчик, сдвинув такие же черные, как у сестры, брови, с нескрываемой несправедливостью смотрел на грабителя.

Пагос, вынув из кармана кошелек, кинул его Сосуну.

— Только дай слово мужчины, — проговорил Пагос, — что ты не причинишь нам никакого зла, когда мы будем возвращаться назад.

Сосун, нагнувшись, быстро поднял кошелек. Не взглянув на содержимое, он поспешно сунул его в карман, затем, подняв глаза к небу, громко произнес:

— Клянусь этим свѣтящим нам солнцем, я вас не трону¹. Езжайте с богом!

Сказав это, Сосун повернулся и зашагал прочь. Он думал, как передать сестре деньги для проклятого чауша.

Через три дня семья Пагоса возвращалась с богомолья. Неожиданно навстрѣчу им из лесу вышел тот же самый человек. Хотя на этот раз ружье висело у него за плечом дулом вниз и он дружелюбно улыбался, Пагос и его семья с опаской смотрели на разбойника, не ожидая ничего хорошего. Вардан не сводил с него настороженного, несправедливого взгляда, решив, что если грабитель пристанет к ним с новой угрозой, он выпустит в него все пули из пистолета, который теперь держал за пазухой. Сосун делал вид, что не замечает враждебности мальчика. Остальные паломники, почувствовав, что он настроен миролюбиво, несколько

¹ У татар клятва солнцем или огнем считается самой сильной.

успокоились. Первым прервал тягостное молчание сам Сосун.

— Добрый день, дядя Пагос! — приветливо, как к доброму знакомому, обратился он, идя рядом с подводой. Но, заметив недоверчивое, напряженное выражение на лицах паломников, добавил: — Не бойтесь, я никакого зла вам не сделаю.

— День добрый, — тяжело вздохнув, с трудом выдавил Пагос, продолжая с опаской коситься на него.

Сосун, опустив голову, некоторое время шел молча, молчали и паломники. Но вот лес кончился, и арба выехала на открытое поле, местами поросшее редким кустарником. Неожиданно из придорожного куста, дергая хвостиком, выскочил заяц. Он на мгновение замер, поводя длинными ушами, затем, прижав их к спине, пустился наутек. Все невольно наблюдали за ним. Сосун сорвал ружье с плеча. Раздался выстрел. Заяц, сделав прыжок, упал и забился. Сосун побежал за добычей. Схватив зайца за задние ноги, он догнал арбу и положил его у ног девушки. Юная армянка легким кивком головы приняла дар, с выражением любопытства и жалости на лице осторожно провела ладонью по мягкой теплой шкурке зайца. Затем она подняла глаза, в первый раз открыто посмотрела на Сосуна и робко улыбнулась. Эта неожиданная улыбка придала ему смелости.

— Дядя Пагос, ты на меня не обижаешься? — совсем некстати спросил Сосун, шагая позади арбы. И, почувствовав неловкость, хотел еще что-то сказать, но лишь густо покраснел и махнул рукой.

— Что ты, что ты, сынок,— с деланным великодушием поспешил ответить Пагос, боясь каким-нибудь неосторожным словом вызвать вспышку гнева у этого странного грабителя.— У меня в городе собственный дом, виноградник. А у тебя, наверное, нет ничего. Эти деньги я тебе дал, как пишкеш. Они тебе нужнее, чем мне.

Сосун опустил голову и смущенно улыбнулся.

— Клянусь богом, ты прав, дядя Пагос, иначе стал бы я разве приставать к вам, как разбойник,— смущенно проговорил он.

Наивное признание грабителя показалось Пагосу наглой насмешкой. «Если ты, сукин сын, не бандит, почему же с кинжалом на поясе и с ружьем в руке рыщешь по лесам, из-за угла нападаешь на мирных людей?..»— сердито подумал он, посылая в душе тысячи проклятий на его шальную голову.

— Я верю тебе, сынок, верю,— поспешил ответить старик, во избежание худшего и желая поскорее отвязаться от этого опасного человека.

Жена и дети внимательно прислушивались к разговору отца с разбойником, который они вели на азербайджанском языке. И нюгдинцы, и армяне, жившие в Дербенте с азербайджанцами, хорошо знали его. Чувствуя на себе любопытный, но все еще настороженный взгляд девушки, Сосун обернулся к ней, улыбнулся.

— У меня дома есть сестра, такая, как ты. Ее зовут Пери,— с теплотой в голосе произнес он.

— А тебя самого как зовут? — несколько смелев, спросила девушка.

Сосун молча отвел глаза.

— Ах, прости, тебе же, наверно, нелзя открывать свое имя,— как бы извиняясь, сказала она.

Сосун вспыхнул. Чтобы не выглядеть в глазах девушки трусом, он назвался. Но она вдруг почему-то громко рассмеялась. Он еще больше покраснел и сердито нахмурил широкие черные брови, подумав, что юная армянка смеется над ним. Мать, заметив, как изменилось лицо разбойника, забеспокоилась. Она толкнула в плечо совсем некстати развеселившуюся дочь и с беспокойством сказала ей что-то по-армянски.

— Ты не обижайся. Сестра смеется потому, что тебя зовут почти так же, как ее,— вмешался в разговор Вардан, больше для того, чтобы успокоить мать, но уже без прежней откровенной неприязни к разбойнику.

Сосун не поверил. У татов никогда не совпадают имена мужчин и женщин.

Нет, девушка определенно смеялась над ним...

Но она, будто угадав мысли и сомнения Сосуна, сказала:

— Брат говорит правду: меня зовут Сусанна. Как видишь, у нас с тобой похожие имена.

В ответ Сосун лишь удивленно пожал плечами и улыбнулся.

К великой досаде и беспокойству Пагоса нюгдинец продолжал идти за подводой, время от времени настороженно оглядываясь по сторонам и притрагиваясь к ружью. Предупредив на своем языке детей, чтобы не болтали лишнего с бандитом, старик ослабил вожжи и тихо ехал, прислушиваясь к тому, о чем говори-

ли молодые. Лошадь, перестав чувствовать хозяина, свернула в сторону и жадно потянулась к сочной траве, росшей на обочине дороги. Левое заднее колесо арбы зацепилось за придорожный пень. Пагос туго потянул на себя вожжи, пытаясь освободить колесо, но лошадь заупрямилась. Недовольно мотая задранной кверху головой с широко разинутым ртом, она не двигалась с места. Сосун, подойдя, сильным рывком приподнял арбу за задок и осторожно опустил на дорогу.

Семья Пагоса с удивлением посмотрела на раскрасневшегося от натуги и добродушно улыбающегося разбойника.

— О-о, какой ты сильный! — с невольным восхищением произнесла девушка, которая совсем перестала бояться и стесняться Сосуна, а потом с упреком и сожалением добавила: — Эх, ты, имея такую силу в руках, не работаешь, а занимаешься разбоем!..

Хотя это было сказано мягко, с улыбкой, лицо Сосуна снова залилось краской стыда. Пагос встревожился: из-за легкомысленной шутки дочери могла случиться новая беда. И он прикрикнул на нее, так чтобы Сосун услышал:

— Сусанна! Как тебе не стыдно? Зачем ты оскорбляешь доброго человека?

— Не ругай ее, дядя Пагос, — сказал Сосун и, горько усмехнувшись, добавил: — Ведь она говорит правду...

На несколько минут воцарилось неловкое молчание. Сосун шел рядом, сосредоточенно глядя на свои запыленные истоптанные чарыки. Потом, подняв голову, он с застенчивой улыбкой посмотрел на девушку.

— Я знаю, вы меня принимаете за разбойника, а я, клянусь небом, не злодей. Но не могу я вернуться домой, в родное село — меня сразу же арестуют, посадят в тюрьму или сошлют в Сибирь, — тихо промолвил он, как бы оправдываясь перед этой девушкой с открытым добрым лицом.

И словно забыв, что перед ним совершенно чужие люди, Сосун стал рассказывать им о себе и своей сестре.

История потрясла паломников.

Мальчик слез с арбы и пошел рядом с Сосун, дружелюбно и сочувственно глядя на своего нового знакомого. А Сусанна сняла с открытой шеи маленький золотой медальон на красивой цепочке и торопливо сунула его в грубую заскорузлую ладонь Сосуна, крепко и дружески сжала ее.

— Ты добрый, храбрый брат, — чуть не плача сказала она. — Я прошу тебя, возьми этот медальон и подари его от меня своей сестре.

Сосун, смутившись, посмотрел на девушку, покачал головой и хотел вернуть медальон, но тут вмешался Вардан.

— Ты знаешь, подарок нельзя возвращать назад, — мягко отстранив его руку, проговорил он.

Сосун, до глубины души тронутый сочувствием этих совсем незнакомых ему людей, вдруг прибавил шаг, догоняя арбу, которая шла впереди. На ходу он вынул из кармана бумажник с деньгами, кинул его на колени Пагосу и, не взглянув ни на кого, быстро свернул с дороги в лес.

Пери, обхватив руками колени, сиротливо сидела у горящего очага. Вечерело. За окном осенние сумерки быстро окутывали землю. Огонь отбрасывал на исхудавшее бледное лицо девушки красноватые отсветы. Они не оживляли, а еще больше подчеркивали болезненную худобу и печальное выражение ее лица. В комнате стояла могильная тишина. Изредка с улицы доносились лай собаки, тоскливое мычание коровы, приглушенные голоса прохожих.

Прошел год с того страшного вечера, когда Гомуил, оклеветав, отправил ее в дом брата. Часто вспоминался ей пережитый кошмар, вставало перед глазами красное злобное лицо Гомуила, в ушах звенели его гнусные слова, заново переживала она позор «Обратного марша»...

Безумное отчаяние и тоска охватили Пери, когда она узнала о женитьбе Эсефа на Хонум. Хотя она и понимала, что между ней и Эсефом раз и навсегда все кончено, что они теперь далекие, чужие друг другу люди, это было для нее страшным ударом.

На другой день после того, как Пери оклеветали и разлучили с Эсефом, Хонум, одуревшая от радости, ни от кого не скрывала своего злого торжества. С неутомимостью одержимой, она распускала самые дикие и гнусные слухи о Пери, стараясь еще больше очернить ее перед людьми. Она продолжала мстить поверженной сопернице за пережитые муки ревности, за перенесенные унижения, за пролитые втайне слезы.

Пери не выходила из дому. Она не хотела ни с кем встречаться, особенно с Хонум, грязные сплетни которой неотступно преследовали ее, как ядовитые стрелы. Даже за водой она ходила вечером, когда у родника никого не было, или на рассвете, когда все еще спали.

Пери была уверена, что Хонум — главная виновница ее несчастья. Мысль, что Эсеф так постыдно легко поддался мерзкому обману, женился на Хонум, которую сам презирал и отвергал, терзала ей душу. Вспоминались ей летние прогулки с Эсефом, когда они забирались в кусты терна и он, обнимая ее, клялся ей в вечной любви... Пери верила ему, потому что любила, любила больше жизни, и невыносимо горько было думать теперь, что самый близкий человек обманул, предал, обрек ее на вечный позор и мучение.

Некрасивая низколобая Хонум, став женой Эсефа, совсем взбесилась. Иногда она, возвращаясь с родника, нарочно задерживалась у калитки Пери, выкрикивала непристойные ругательства, заливалась громким неестественным хохотом, желая вконец известить бывшую соперницу.

Хорошо еще, что после бегства Сосуна из села в доме остались два кенду¹ с мукой. У Пери был еще свой хлеб, и она могла никуда не ходить.

По вечерам Пери часто навещали тетя Майрам, жена Рахмона и старуха Эвшаг. Они подолгу засиживались у нее, стараясь утешить, подбодрить девушку, рассказывали о Сосуне,

¹ К е н д у — глиняный четырехугольный сосуд с открытым верхом.

когда узнавали что-либо новое о нем от своих сыновей и мужей.

Сегодня перед рассветом Пери, взяв кувшин, пошла к роднику за водой. Было еще темно и холодно, но на небе уже начали бледнеть и гаснуть редкие звезды. В разных концах села бодро перекликались петухи.

Когда Пери вышла за калитку, ей показалось, что какая-то тень метнулась в сторону и скрылась за черным плетеным забором соседа. Она в испуге вздрогнула. Кто это? Сосун? Да нет! Если он иногда тайком приходил домой, то только глубокой ночью, а на рассвете обычно уже торопился в лес. Да разве Сосун не узнал бы, что это не чужой человек, а она, его сестра?.. А кто же это мог быть?.. А может, никого и не было, просто ей показалось?..

В сердце закрался страх. Но возвращаться домой с пустым кувшином ей не хотелось, это считалось дурной приметой. Да и в доме не было ни капли воды, а днем она ни за что не решилась бы на виду у всех пойти к источнику.

«Наверно, это Илогу», — подумала Пери. Несколько раз в это же время она видела, как чауш, прячась за углом дома, подкарауливал Сосуна. Девушка с сердцем плюнула в ту сторону, где, как ей показалось, спрятался Илогу, и возмущенно произнесла:

— Тфу, собака, чтоб тебе провалиться сквозь землю!..

Пройдя по безлюдным улицам сонного села, Пери вышла на окраину, спустилась по узкой извилистой тропе в лощину к источнику. Прозрачная вода, над которой клубился легкий белый пар, тихо струилась из-под высокого

обрыва. От родника тянуло зябким холодом. В кустах, прыгая с ветки на ветку, щебетали проснувшиеся птицы.

Наполнив кувшин водой, Пери поставила его на землю и, чтобы поднять, продела через ручку веревку. Неожиданно из-за кустов показалась высокая фигура Эсефа. Пери выпустила из рук веревку и повернулась к нему спиной.

— Пери-джан!.. — голос Эсефа осекся, дрогнул.

Сжалось бедное сердце Пери. Когда она услышала бесконечно родной, ласковый голос, на какое-то мгновение ей показалось, будто ничего страшного в ее жизни не было, а если и было, то разве что во сне, в кошмарном сне, который давно позабыт. Просто Эсеф пришел к ней на свидание... Но, вновь услышав голос Эсефа, Пери вернулась к действительности. Сердце ее бешено заколотилось. Ее охватила острая ненависть к нему — своему мучителю. Но Эсеф, ничего не замечая, со слезами, спеша и запинаясь, точно торопясь излить душу перед Пери, говорил ей о том, что он ее любит по-прежнему. И с тех пор, как их насильно разлучили, сердце его не знает покоя, глаза отвыкли от сна, он не находит себе места. Поэтому очень часто на рассвете он ходит возле ее дома, чтобы только услышать ее шаги, взглянуть в ее лицо. Вот она сегодня обозвала его собакой, а он был рад слышать ее голос. Пусть бы она ругала его еще и еще!.. За все случившееся Эсеф проклинал отца, говорил, что ненавидит навязанную ему жену.

— Пери, прости меня!.. — сдерживая рыдания, воскликнул он. — Давай убежим в город, куда угодно, лишь бы ты была со мной!..

Девушка чуть повернула голову и исподлобья взглянула на Эсефа, но тотчас же отвела глаза в сторону. Она заметила, что он похудел и осунулся, словно перенес тяжелую болезнь. Его карие глаза, всегда добродушные и веселые, теперь были полны печали и тоски. Ненависть в сердце Пери сменилась жалостью и нежностью, к горлу подкатил комок. Она не могла вымолвить ни слова, боясь, что, как только заговорит, тут же разрыдается, выдаст себя... А к чему это?.. Все равно ничего не вернешь...

Крепко сжав дрогнувшие губы, Пери быстро вскинула на спину кувшин с водой и, не глядя на Эсефа, молча прошла мимо.

— Пери-джан!.. Неужели в твоём сердце не осталось любви ко мне?! — шагая за ней и протянув вперед руки, как нищий за подающим, промолвил Эсеф. — Разве ты не видишь, как я страдаю?! Да и ты тоже... Я же не слепой... Заклинаю тебя богом, памятью твоего отца, убежим, убежим отсюда, моя любимая!..

Слова Эсефа терзали сердце Пери. Еще немного, и она не выдержит этой пытки, этой борьбы с собой, сбросит с плеча кувшин и обвинит Эсефа...

Сердце глухо билось в груди, поги подкашивались, кувшин стал непосильно тяжелым, руки Пери едва удерживали его. Ускорив шаг, не глядя под ноги, она побежала от любимого, как от смертельной опасности.

— Пери! Пе-ери! Не убегай от меня! — отчаянным голосом кричал вслед Эсеф. — Я сойду с ума, умру без тебя! Слы-шишь?!

Слова настигали Пери, как пули. От быстрого бега кувшин болтался за спиной, холод-

ная вода выплескивалась из горлышка, заливая ей спину, но она ничего не чувствовала.

Уставшая, измученная, девушка прибежала домой, поставила кувшин у двери и упала пичком на пол, сотрясаясь от рыданий...

Сейчас, сидя у очага, Пери вновь переживала ту встречу с Эсефом. От горестных воспоминаний ее отвлек робкий стук в дверь.

— Кто там? — не вставая с места, спросила она.

— Это я, Хумор! — отозвался тихий голос.

Пери, бесшумно отодвинув засов, открыла дверь и впустила в комнату смуглую круглолицую девушку, которой на вид было лет шестнадцать — семнадцать. Она усадила ее рядом с собой возле очага. Опустившись на пол, покрытый рваным паласом, гостя вынула из-под старенького шерстяного платка небольшой ворох шерсти и веретено, ласково посмотрела на хозяйку. Глаза у нее были черные, живые и глядели приветливо, с доброй усмешкой.

— Да сохранит бог твоего единственного брата! Дай мне, пожалуйста, какую-нибудь чашку или горшок, — обратилась она к Пери.

Пери встала, сняла с полки темный глиняный горшок, поставила его перед Хумор. Та принялась крутить в нем веретено, наматывая на него шерстяную нитку. Однообразное жужжание, точно гул пчелиного роя, раздавалось в тишине комнаты.

— Что нового, Пери? — тихо спросила Хумор, подняв глаза на хозяйку.

— Ничего, — печально ответила Пери, склонив голову набок.

Девушки, глубоко вздохнув, замолчали.

Хумор, вторая дочь старика Одома, была давно влюблена в Сосуна. Она тяжело переживала горе его сестры, но еще больше страдала от того, что Сосун вынужден скрываться, что его в любое время могут схватить, заключить в тюрьму, и тогда она надолго, а может быть, навсегда, будет лишена радости видеть его. Каждый вечер, ложась спать, она молила бога отвести от Сосуна беды и несчастья.

Хумор не была нареченной Сосуна, поэтому она, стесняясь людей, не решалась часто бывать у Пери, интересоваться судьбой ее брата. Это могло вызвать пересуды и сплетни, будто она сама навязывается парню. Такие разговоры бросили бы тень на ее доброе имя и на честь родителей. Она хорошо знала, что девушка должна соразмерять каждый свой шаг со строгими правилами и обычаями, чтобы люди не осуждали ее. Хумор очень хотелось верить, что она тоже нравится Сосуну и, не случись с ним несчастье, он, быть может, сосватал бы ее, и теперь она была бы уже его женой, хозяйкой в этом доме.

Ей вспомнилось начало мая прошлого года. Она с отцом отправилась тогда на прополку пшеницы. День был ясный, солнечный. Над головой голубело чистое, без единого облачка, небо. Вооружившись большим ножом, Хумор срезала сорняки.

Старик, почувствовав легкий озноб — приближение приступа малярии, пошел к лесу, прилег на траве, укрывшись овчинным тулупом. Занятая работой, Хумор не сразу заметила, что от леса, приветливо и застенчиво улыбаясь, прямо к ней шел Сосун.

— Бог в помощь! — тихо произнес он.

— Спасибо,— со смущенной улыбкой ответила она, несмело поглядывая на парня.

До этого они никогда не разговаривали друг с другом. Хумор знала, что Сосун, несмотря на свою молодость, очень степенен, сдержан, даже суров. Таким его, видно, сделала жизнь, слишком рано возложившая на него заботы и тяготы взрослого мужчины. Хумор не слышала, чтобы Сосун за кем-нибудь ухаживал, хотя многие девушки — она знала об этом — тайно вздыхали по нему.

— Хумор, хочешь, я тебе покажу одну вещь? — подойдя к ней близко, с какой-то необычной для него веселой мальчишеской улыбкой спросил Сосун.

— Покажи! — согласилась Хумор.

Сосун отошел к опушке, остановился на краю пшеничного поля и пальцем поманил ее. Когда она подошла, Сосун указал рукой на один из двух зеленых кустов, росших рядом, и предупреждающе приложил палец к губам. Опустившись на четвереньки, он, точно кошка, подстерегающая на крыше воробья, стал осторожно и бесшумно подкрадываться к кусту. Едва Сосун сунул в него руку, как оттуда, шумно хлопая крыльями, выпорхнул фазан с длинным, разноцветным, как радуга, хвостом. Сосун раздвинул ветки и показал Хумор гнездо фазана с крохотными цыплятами. Маленькое гнездо, вырытое в земле и выстланное изнутри мягкой сухой травой, так искусно было скрыто от глаз, что его почти невозможно было заметить.

Взяв одного нежно-желтого пушистого птенца и подержав на ладони, Сосун передал его Хумор.

— Я давно заприметил это гнездо,— сказал он с довольным видом, глядя в зарумянившееся лицо девушки,— но ждал, когда выведутся цыплята. Хочу забрать фазана вместе с его выводком. Может быть, удастся приручить. А интересно все-таки. Только фазан никак в руки не дается,— с сожалением заключил он.

Сосун, улыбаясь, взял с раскрытой ладони Хумор пискливого птенца, неуклюже и тревожно перебиравшего тоненькими розовыми лапками, и осторожно положил в гнездо.

Несколько минут они стояли молча, не зная, о чем говорить дальше. Сосун давно искал повода для серьезного разговора с Хумор. А вот сейчас, когда такой случай представился, он не находил нужных слов. Несколько этот сильный, широкоплечий молодой батрак был упорен и расторопен в работе, настолько он был робок и застенчив с девушками.

— Почему ты не навещаешь Пери? — тихо спросил он и покраснел от смущения или, может быть, оттого, что хотел сказать ей совсем другое.

— Мы же с ней не подруги, а приходиться просто так — неудобно,— призналась девушка.

А Сосун в замешательстве от ее откровенности только и смог пробормотать:

— Приходи, она будет рада...

Хумор, вспомнив тот памятный для нее день, задумчиво и грустно улыбнулась. Потом, желая сказать что-то хорошее, утешительное Пери, промолвила:

— В семье никто не любит дочь раби Шафада. Даже свекрови она не нравится. А Эсеф,

если бы ты видела, стал как чахоточный. Она, подлая, всех сделала несчастными. Один Го-муил доволеп ею, и то из-за нее ходит с кривой шеей и трясущейся головой.

Губы Пери тропула едва заметная улыбка. Все это она знала, но от слов Хумор ей как будто стало легче.

— Бог наказывает их за мои страдания,— вздохнув, проговорила она. А потом, немного помолчав, бодро добавила: — Хочешь, завтра пойдем в одно место? — Черные глаза Пери таинственно заблестели.

— Куда? — с любопытством спросила Хумор, продолжая крутить веретено.

— К Сосуну, в лес...

Хумор выпустила из рук веретено и отвела в сторону глаза, стараясь не выдать своего волнения.

— Только надо идти на рассвете, чтобы нас никто не заметил,— предупредила Пери.— Возьмем с собой мешки, как будто идем за шишками и айвой... Я уже приготовила узелок с хлебом и вареными яйцами.

Уговаривать девушку не пришлось. Хотя Хумор и таила от Пери свои чувства к ее брату, но та обо всем догадывалась, видела, как она тоскует по Сосуну. От этого Хумор становилась для нее близким, родным человеком.

Еще не совсем рассеялась предрассветная мгла, когда девушки с пустыми мешками вышли из села на дорогу, ведущую через поля в лес, в сторону Григоринчая. Но не успели они пройти и полверсты, как Пери, оглянувшись назад, заметила низкорослую фигуру Илогу. Тот, видимо поняв, что обнаружил се-

бя, сразу шарахнулся в сторону и спрятался за придорожными деревьями. Хумор, заметив, что Пери побледнела, с беспокойством спросила:

— Горе мне, на тебе лица нет, что с тобой случилось?

— Проклятый Илогу идет за нами по пятам, чтоб кишки его сгорели!

Хумор сразу обернулась, но никого не увидела.

— Может, он решил заменить нам в дороге собаку, которую мы забыли взять с собой? — нарочито громко сказала Хумор, чтобы услышал чауш, и засмеялась.

...За последние полгода после свержения царя Гомуил и Илогу дважды ездили с подарками в окружной центр Касумкент, прося помощи для поимки «опасного бунтовщика» и «разбойника» Сосуна. Начальство, как и раньше, охотно принимало подношения, обещало помочь, но жандармов уже не посылало. Для самой окружной администрации наступили беспокойные времена. Хотя повсюду в Дагестане во главе военных гарнизонов в Ахтынской, Гунибской, Хунзахской и других крепостях, не говоря уже о городах, стояли прежние генералы и офицеры, а у власти — те же князья, беки и богачи, что верой и правдой служили царю, в народе не было ни безропотного повиновения властям, ни страха перед ними.

С каждым днем среди горской бедноты росла популярность большевиков, которые призывали самовольно пахать княжеские и бекские земли, говорили о необходимости отнять собственность и власть у богатых и передать рабочим и крестьянам.

Под самым боком у начальства, в каких-нибудь пятнадцати — двадцати минутах ходьбы от окружного центра Касумкента — в маленьком селении Ашага-Стал оборванный, неграмотный старик лезгин по имени Сулейман, обладавший чудесным поэтическим даром, слагал крамольные песни, в которых поносил мулл и знать. У многих они были на устах. Даже в Нюгди, где не все знали лезгинский язык, песни этого ашуга-бунтаря были известны.

Не надеясь теперь на помощь окружного начальства, которому было сейчас не до него — старосты какого-то захудалого, затерявшегося среди глухих лесов татского селения, — Гомуил приказал Илогу во что бы то ни стало выследить Сосуна, поймать или убить его.

Чауш был многим обязан своему хозяину и покровителю. В молодости он бежал из своего родного Варташана после участия в каком-то групповом убийстве. Боясь наказания властей и мести родственников убитого, он добрался до глухого селения Нюгди, о существовании которого едва ли подозревали его земляки. Здесь он нашел приют и защиту у нюгдинского старосты. О преступлении пришельца было известно одному Гомуилу. Он не только не выдал беглеца, но и приблизил его к себе, сделал своим чаушем. Илогу хорошо знал, что многие сельчане ненавидят его не меньше, чем самого старосту, он понимал, что связаны они одной веревочкой, и готов был выполнить любое распоряжение своего хозяина, даже если оно было ему не по душе.

Несколько раз ночью, закутавшись в теп-

лую баранью шубу, с револьвером в руке Илогу подкарауливал Сосуна около его дома. Но, к его великой досаде, он ни разу не появился. Сегодня на рассвете Илогу опять устроил засаду. А когда он увидел девушек, вышедших в такую рань из дому, то сразу сообразил, что они идут на свидание с Сосуном. Чауш, спрятав по дороге шубу в кустах, решил неотступно следовать за ними, как волк за отарой, но по неосторожности обнаружил себя.

Девушки, зная, что Илогу следит за ними, решили перехитрить его, поэтому шли медленно и совсем не по той дороге и не в ту сторону, куда собирались. Небо уже совсем прояснилось, восточный край горизонта слегка порозовел. Холодный утренний ветерок шевелил на деревьях листья, тронутые осенней желтизной. Неподалеку уже слышался гул Григоринчая.

— А зачем нам далеко ходить, — притворно беспечным голосом сказала Хумор, остановившись на дороге у края леса. — Здесь тоже много айвы и шишек.

Девушки вошли в лес и начали обрывать с веток мягкие, с тонкой коричневой кожурой, сладкие, как хурма, шишки и желтые плоды айвы.

В лесу было тихо, сумрачно и прохладно в этот ранний утренний час. Лесную тишину нарушал лишь близкий шум реки. Девушки чутко улавливали каждый шорох, слышали, как под ногами Илогу, украдкой пробирающегося за ними, с треском ломаются сухие ветки.

Налакомившись, наполнив мешки айвой и шишками, Пери и Хумор вышли к берегу реки. По ту сторону Григоринчая тянулся лес,

зеленели поляны, освещенные яркими, но не-жаркими лучами октябрьского солнца. Река, извиваясь, текла быстро, как будто спешила достигнуть конца своего пути.

Илогу, продолжая наблюдать за девушками, подошел к опушке леса, обрывающегося у берега, и лег на живот, укрывшись за широким стволом дуплистого дуба.

Вдруг Хумор, подбоченясь, произнесла громко, так, чтобы ее услышал чауш:

— Пери, давай искупаемся, все равно нам спешить некуда.

— Да ты что?! — притворившись удивленной и испуганной, воскликнула Пери. — Стыдно же — нас могут увидеть.

— Кроме рыб в реке и зверя там, в лесу, нас никто не увидит, — засмеялась Хумор, нарочно поглядывая в ту сторону, где прятался Илогу.

Чауш понял, что девушки хитрят, хотят провести его, но решил не попадаться на удочку. Он был уверен, что купаться они не будут, вода в реке в такое время года холодная. В душе Илогу злился и в то же время посмеивался над их наивной хитростью. Но когда Хумор подошла к реке, разулась и стала ногой пробовать воду, уверенность его поколебалась. «А вдруг эти сумасбродки и впрямь возьмут да искупаются?!» — подумал он и повеселел.

Несмотря на свои пятьдесят лет, Илогу не имел ни жены, ни детей. За годы жизни в Нюгди он женился много раз, но ни одна жепщина не родила ему ребенка. Прожив с женой два-три года, он обычно выгонял ее, обвиняя в том, что она якобы бесплодная, и женился на другой.

Мужей, которые били своих жеп, в селе не осуждали. Наоборот, если муж не бил жену, не был с пей суров, он считался педостойным звания мужчины. И женщины никогда не жаловались на деспотическое обращение мужей, так как это считалось предосудительным. Но жестокость Илогу по отношению к своим женам не знала границ. Поэтому нюгдинские вдовушки, к которым он сватался, предпочитали оставаться одинокими, влачить полуголодное существование, чем терпеть его издевательства.

Вот уже пять лет Илогу жил один. Он истосковался по женщине. И сейчас, услышав, что девушки собираются купаться, он, словно голодный волк, видящий перед собой овцу с жирным курдюком, в нетерпении ждал, когда же они сбросят одежду.

К большой досаде Илогу, девушки почему-то медлили. Неожиданно лес наполнился шорохами, хрустом и треском. Илогу невольно оглянулся. Прямо на него из леса двигалась отара. Овцы, пощипывая траву, направлялись к реке на водопой. Огромные лохматые псы сопровождали их. Обнажив острые, как у волков, клыки, они с неистовым лаем накнулись на застигнутого врасплох Илогу. Чабанов не было видно поблизости, они шли позади отары. Спасаясь от собак, Илогу быстро вскочил на ноги и, обхватив руками толстый ствол старого дуба, под которым только что лежал, попытался взобраться на него. Но один пес, с отрезанными ушами и хвостом, торчащим как кол, успел схватить его за ягодицу. Чауш вскрикнул от боли и страха, сорвался с дерева и грохнулся на землю. На его счастье, в это

время слышался свист и громкие голоса чабанов. Собаки, оставив Илогу, неохотно повернули на зов. Чауш, воспользовавшись этим, сломя голову выскочил из леса на берег. Хромая и прикрывая рукой голый окровавленный зад, пугливо озираясь по сторонам, он под громкий хохот девушек торопливо заковылял в сторону села.

Вскоре той же дорогой вернулись домой Пери и Хумор.

Встреча

Было раннее утро глубокой осени, серое, пасмурное. Временами моросил дождь. Деревья роняли последние листья. Оглашая воздух сердитым карканьем, над ними кружилась стая встревоженных ворон. Оголились и почернели поля. Все вокруг было неуютно, неприятливо и угрюмо.

Через мокрый лес по узкой тропинке, засыпанной опавшими желтыми листьями, шел худой мужчина с коротко стриженной темно-каштановой бородкой. Несмотря на то, что вид у него был изможденный, человек шагал бодро и быстро, а светло-карие с прищуром глаза смотрели весело. То был пасынок старосты Шоул. Он шел быстро, жадно всматриваясь в знакомые очертания лесов и полей. Они воскрешали в памяти дорогие сердцу видения детства, мать, односельчан, с которыми он не виделся вот уже более десяти лет, скитаясь по царским тюрьмам и ссылкам.

Шоул, сокращая путь в село, шел через самую глухую часть леса. Слева от тропинки

тянулся неглубокий, но широкий овраг, усыпанный опавшими листьями и окруженный высокими деревьями, верхушки которых словно упирались в небо. Первозданная тишина царила здесь. Ее нарушал лишь монотонный шум мутного ручейка, протекавшего по дну оврага. Пахло прелыми листьями, грибами и влажной землей.

Шоул внезапно остановился, увидев под одним из деревьев большую черную буйволицу со вздутым животом. Упираясь задом в широкий ствол, с налитыми кровью глазами, она пригнула голову к земле, угрожающе выставив вперед могучие острые рога. Вокруг нее, щелкая зубами и опустив пушистые длинные хвосты, словно в каком-то замысловатом танце, кружились волк и волчица. Они старались отвлечь ее внимание, чтобы, улучив момент, прыгнуть на грудь и вцепиться зубами в горло.

Шоул сразу догадался, что буйволица, чувствуя приближение родов, отбилась от стада, как это часто делают стельные буйволицы, чтобы в укромном месте произвести на свет своего детеныша. Но волкам удалось подстеречь ее, и теперь они готовились к расправе с неповоротливым беззащитным животным. Шоул скрылся за деревом, раздумывая, как помочь попавшей в беду буйволице, и вдруг прозвучал выстрел. Волчица, подпрыгнув, осела на задние лапы, жалобно взывала и завалилась на бок. Волк испуганно шарахнулся в сторону и, поджав хвост, быстро скрылся за деревьями.

Буйволица, подняв голову, настороженно огляделась по сторонам. Убедившись, что опасность миновала, она выбралась из оврага

и помчалась прочь, подрагивая тяжелым животом.

Через минуту в нескольких шагах от себя Шоул увидел широкоплечего молодого человека в мохнатой папахе и рваной темной черкеске. В правой руке он держал ружье. Из одного ствола еще вился дымок, как из чубука кальяна.

Шоул, несмотря на свою близорукость, узнал в нем того маленького батрака, который работал на его отчима Гомуила. Это был первый знакомый человек, встреченный им по дороге в родное село. Шоул с широкой улыбкой протянул ему руку. Но он, остановившись, посмотрел на него отчужденно и подозрительно, показывая, что не намерен вступать в какой-либо разговор.

— Ты разве не Сосуп сын Ишмаила? — обескураженный таким приемом, спросил Шоул, щуря близорукие глаза.

Хмурое лицо Сосуна преобразилось и радостно засияло, когда он услышал знакомый голос. Быстро закинув ружье за плечо, он подошел к Шоулу и, обхватив его худые плечи, крепко обнял.

— С приездом, Шоул, с приездом, дорогой! — взволнованно сказал Сосун.

— Спасибо, спасибо, друг. Я тоже рад тебя видеть, — сердечно отозвался Шоул. Потом окинув его лукавым, испытующим взглядом, добавил: — Тебя, брат, не узнать, вон какой стал — прямо богатырь!

— А я тебя не сразу узнал, ты тоже изменился.

— Постарел, скажи, — чуть грустно усмехнулся Шоул.

Сосун слегка смутился.

— Не то чтобы постарел,— уклончиво ответил он.— Ты просто так сильно изменился, что не сразу можно тебя узнать...

— Знаю, знаю,— мягко перебив его, Шоул дружески кивнул.— Но ты, брат, здорово разделался с волчицей — одним выстрелом. Еще бы несколько минут, и конец бедняге.

Сосун скромно улыбнулся.

— А знаешь, чья была эта буйволица? Рахмона, моего соседа.

Шоул пристально посмотрел на него, стараясь что-то вспомнить.

— Постой, постой. Не тот ли самый Рахмон, который поджег скирды Гомуила и был за это сослан в Сибирь?.. Он жив, вернулся?..

Сосун не удивился, что Шоул назвал своего отчима по имени, как чужого. Он помнил: Шоулу известно, кто убийца его родного отца.

— Вернулся, — сказал Сосун. — На войне был, воевал, один глаз потерял, приехал с наградой, а по-русски говорит так бойко, наверно, не хуже настоящего русского.

Шоул дружески взял Сосуна за локоть.

— Ну что, пойдем в село? Я тебе по дороге расскажу такую новость, что подпрыгнешь от радости.

Сосун покачал головой и виновато улыбнулся.

— У тебя что, какое-нибудь неотложное дело? — спросил Шоул и, впервые по-настоящему оглядев его, с недоумением добавил: — Да, послушай, зачем ты так вооружен и почему в эдакую рапь бродишь по лесу?

Сосун опустил голову.

— Убежал из села,— после напряженного молчания проговорил он и глубоко вздохнул.— Вот уже целый год скитаюсь по лесам...

— Убежал, говоришь? — удивленно переспросил Шоул.— Зачем, от кого?

Видя колебание Сосуна, он дружески взял его под руку, подвел к стволу старого поваленного грозой дерева. Шоул присел. Сосун, неторопливо сняв с плеча ружье, опустился рядом с ним, положив двустволку между ног. Шоул достал из кармана кисет с табаком и короткую трубку. Набив ее, он протянул кисет Сосуну.

— Ну, рассказывай, как все было,— сказал он, выжидающе глядя на парня.

— Скрывался от старосты, от властей,— с волнением начал Сосун и остановился. Потом, овладев собой, уже почти спокойно рассказал Шоулу обо всем, что произошло с ним и его сестрой.

Выслушав Сосуна, Шоул долго молчал.

— Да-а! Это похоже на моего отчима,— наконец произнес он в задумчивости. Потом ободряюще взглянул на Сосуна: — Теперь тебе незачем хорониться от Гомуила! Пусть этот негодяй сам трясется перед тобой, как заяц!

Сосун с сожалением покачал головой и невесело усмехнулся. Тогда Шоул, поняв его сомнения, рассказал, что в Петрограде восставшие рабочие и солдаты взяли власть у богатей и теперь по всей стране устанавливают новые порядки...

— Больше ни Гомуил, ни те, кто его поддерживали, тебе не страшны. Они сами будут бояться нас всех,— горячо, убежденно сказал Шоул так, словно перед ним сейчас стоял не один парень, а множество людей.

— Слушай, Шоул, дорогой мой, неужели это правда?! — дрогнувшим от волнения голосом переспросил Сосун.

— Да, мой друг, да, это — правда, — твердо произнес Шоул.

Сосун резко вскинул ружье вверх и дважды выстрелил в воздух, сопровождая каждый выстрел радостным громким гиканьем, которое многоголосым эхом прокатилось по лесу.

Пока они шли, оживленно разговаривая, погода понемногу стала улучшаться. Сквозь разрывы тяжелых облаков весело брызнули солнечные лучи, мягко осветив все вокруг.

Впервые за весь год Сосун шел в родное село при свете солнца, не таясь от людей.

День был субботний. Все мужчины находились в нимазе¹, а женщины, в ожидании возвращения своих мужей, сыновей и отцов, стояли у ворот, громко разговаривая.

Увидев Шоула и Сосуна, они удивленно умолкли, а потом дружной стаей бросились им навстречу, шумно и радостно приветствуя их:

— С приездом, о Шоул! Дай бог, чтобы ты всегда радовал глаза твоей матери!

— Да чтобы тебя миновали беды и болезни, о Сосун!

— Как ты изменился, Шоул?!

Одна из девушек побежала сообщить Гюзюргул о приезде ее сына. Пока Шоул говорил с односельчанами, старуха Эвшаг с крашенными хной ярко-рыжими волосами отвела Сосуна в сторону.

— Коли ты, сынок, замышлял было убить этого старого пса, надо было добивать его до

¹ Н и м а з — молитвенный дом.

конца, — с укором прошептала она ему в ухо. — Он не знает, что это я его выдала. Он думал, что ты согласишься клевете на сестру, убьешь ее, как того требует намус, и все будет шито-крыто: никто ничего не видел и никто ничего не знает. А я всем по секрету рассказала, как он, сатана, хотел меня подкупить...

Но вдруг Эвшаг, точно спохватившись и с беспокойством глядя на Сосуна, спросила:

— Тебя что, помиловали?.. А то, не дай бог, староста и чауш, как увидят тебя, арестуют сейчас же...

— Теперь конец Гомуилу и Илогу, тетя Эвшаг. У нас будут свой староста и свой чауш, из бедняков! — неслыханным известием ошарашил Сосун старуху.

Вскоре прибежала Гюзюргул, с трудом переводя дыхание от быстрой ходьбы и волнения. Раскрыв, как крылья, руки, бросилась она к Шоулу. Мать долго не отпускала сына, всматриваясь в дорогие черты:

— Сын мой, горе твоей матери, что они с тобой сделали?! Ты совсем на себя не похож...

Шоул целовал сильно постаревшую мать, ласково гладил ее поседевшие волосы.

— Не волнуйся, мама, теперь никто меня в тюрьму не посадит, в Сибирь не отправит.

Глядя на них, смахивали слезы столпившиеся вокруг женщины.

— Хватит плакать. Вместо того чтобы радоваться, ты только расстраиваешь сына! — сказала одна из женщин, вытирая глаза краем платка.

— Легко так говорить, а попробуй-ка сладить с материнским сердцем, — в укор ей ответила другая.

Узнав, что по случаю субботы все мужчины ушли в нимаз, Шоул, кое-как успокоив мать, вместе с Сосуном направился туда. Нимаз был единственным каменным сооружением в Нюгди. У входа в него над дверью, на развернутом каменном свитке, были высечены десять библейских заповедей.

По низким истертым каменным ступенькам нимаза Шоул и Сосун поднялись на веранду, но внутрь не зашли. Шло богослужение. Престарелый раби Шафад, облаченный в белый длиннополый атласный бешмет, стоял на амвоне и читал нараспев горькие сетования библейского пророка Иеремии, в которых он осуждал человеческие пороки и коварство:

«Берегитесь каждый своего друга и не доверяйте ни одному из своих братьев, ибо всякий брат ставит преткновение другому и всякий друг разносит клевету. Каждый обманывает своего друга и правду не говорит, приучили язык свой говорить ложь, лукавствуют до усталости...»

Дальше раби повторял произнесенные устами пророка слова господа о том, что люди легкомысленны и вероломны, отрекаются от бога и за это «трупы их будут повержены... как навоз на поле и как снопы позади жнеца, и некому будет собрать их...»

Голос раби, красивый и сильный, натренированный десятилетиями, звучал внушительно и грозно. Но в нем уже не было прежней бодрости, а главное — проникновенности. Сам Шафад, еще не так давно топкий, юношески стройный, заметно одряхлел, сгорбился. Длинная широкая борода, колечками спускавшаяся ниже груди, и густые брови стали совершенно

белыми, как молочная пена. Живые черные глаза с твердым, пронизательным взглядом потускнели, смотрели беспокойно и рассеянно.

Все молча внимали голосу раби. Ближе всех к амвону сидел староста. Среди убого одетых односельчан он выглядел особенно нарядно. По случаю праздничного дня староста был одет в зеленый шелковый бешмет, перетянутый серебряным поясом, и в галифе из синего сукна. На ногах — мягкие хромовые до блеска начищенные сапоги. На крупной седой голове Гомуила красовалась высокая папаха из серебристого каракуля с красным бархатным верхом. По правую сторону от него с безразличным и скучающим видом сидел его сын Эсеф, а слева — верный чауш Илогу.

Покончив с пророчествами Иеремии, раби повернулся лицом к джамаату. Он широко простер руки над присутствующими и прочитал короткую молитву-благословение.

Едва раби, а вслед за ним все остальные, произнесли «аминь», с места поднялся староста.

— А теперь, почтенный раби, читай благословение господину Керенскому, — обратился он к священнику, подергивая головой. — Раньше священники молились за царя. Теперь мы, к великой скорби нашей, потеряли этого падишаха, но с божьей помощью обрели Керенского. Он мудро правит нами, оберегает нас от большевистских беспорядков и безбожников...

Среди молящихся прошел шум. Шоул тронул Сосуна за плечо, молча указал глазами, чтобы он пока остался здесь, па верапде, а сам вошел в нимаз.

— Не верьте старосте!.. — громко воскликнул он.

Неожиданное появление Шоула, его слова произвели на всех ошеломляющее впечатление. Односельчане разом поднялись, устремив на него взгляды, полные удивления, ожидания и уважения.

— Это ты, Шоул?! — невольно вырвалось у старосты, пораженного неожиданной встречей со своим давно пропавшим пасынком.

— Брат!.. Аззи!.. — радостно воскликнул Эсеф, бросаясь к нему.

Но Гомуил, сердито нахмутив брови, схватил сына и резко усадил его рядом с Илогу, который злыми косячьими глазами неотрывно глядел на пасынка старосты.

Шоул поднялся на амвон, не слишком почтительно отстранив рукой раби Шафада. Тот осуждающе посмотрел на него, но, чувствуя внезапную перемену в настроении прихожан с неожиданным появлением этого смутьяна, отступил, медленно пятясь, спустился с амвона.

Все притихли, собираясь слушать Шоула, который, как говорили, шел против царя и богатеев.

— Односельчане! Я принес вам радостную весть! — громко произнес Шоул, обращаясь к односельчанам. — Рабочие в России прогнали Керенского, лишили богачей власти. Рабочие и крестьяне создали свою, новую власть, которая называется Советской властью. И возглавляет ее самый справедливый и мудрый человек на земле, друг и вождь бедняков — Ленин. Отныне вся земля принадлежит не Гомуилу и другим богачам, которые живут за счет чужо-

го труда, а вам, тем, кто своим потом поливает эту землю, своими руками обрабатывает ее...

Раби Шафад, не желая слушать безбожные речи и глубоко оскорбленный тем, с каким интересом слушают их впавшие в грех и блуд его прихожане, покинул нимаз.

Как только он ушел, Гомуил, весь красный, сильнее, чем обычно, подергивая парализованной головой, подошел к амвону и крикнул не своим голосом:

— Больше-ви-ик! Ха-рам-заде!¹ Убирайся вон!..

В ответ раздались крики, смех. И среди этого хаоса голосов вдруг прогремел выстрел. В открытом окне нимаза, за которым лежал глубокий овраг, а дальше — темнел лес, мелькнула приземистая фигура Илогу. Шоул, прижав ладонь к плечу и побледнев, медленно опустился на пол.

Несколько человек одновременно бросились к раненому. В нимазе поднялся невообразимый шум, раздались проклятия и угрозы Гомуилу и Илогу. Рахмон с красным от гнева лицом ринулся на Гомуила.

— Злодей, убийца!.. — кричал он, толкая его в грудь кулаками.

Гомуил, схватив за руку рвавшегося к брату Эсефа, с силой потащил его к выходу. На минуту задержавшись у дверей, кипя от злости, он повернулся к односельчанам:

— Шакалы! Голодранцы! Я вам все это припомню!..

Но внезапно умолк и побледнел, увидев перед собой, словно выросшую из-под земли,

¹ Х а р а м з а д е — нечестивец.

плотную, налитую молодой силой грозную фигуру батрака Сосуна. На мгновение их глаза встретились. Эсеф вырвался из рук отца и сломя голову бросился в открытые двери пи-маза...

Ночные пришельцы

Гюзюргул была в отчаянии. Ей казалось, что все беды и несчастья, какие только могут быть на свете, разом обрушились на ее голову. Старший сын, ее первенец, который столько лет томился в царских тюрьмах, голодал в далекой Сибири, теперь лежит раненый. Второй сын Эсеф, добрый и беспомощный, как дитя, опасаясь мести Сосуна и проклиная свою судьбу, убежал неизвестно куда. Где он сейчас, что с ним?.. От одной мысли, что он скитается, как бездомный, сердце ее разрывалось на части. Ее муж, который еще вчера был в селе первым человеком и все кланялись ему, сейчас, как узник, сидит в остроге, куда он сам сажал недоимщиков, скандалистов и конокрадов. Что с ним теперь будет?.. Говорят, большевики — злые и беспощадные. Они убивают без разбора всех богачей. Но разве люди виноваты, если сам бог одних сделал богатыми, а других бедными?..

Она никак не могла понять, что же заставило ее сына, не знавшего нужды и тягот жизни, так озлобиться, стать большевиком? Бог свидетель, она никогда не любила Гомула, не радовалась его богатству, не дорожила его вниманием. После гибели любимого мужа она и не думала о замужестве, хотела жить

одна, посвятив себя будущему ребенку, сохранить до самой смерти верность памяти Юсуфа. Но неистовый Гомуил силой и уговорами вынудил ее выйти за него замуж, да простит его бог в такой тяжкий и скорбный для него час.

И отчим все делал для своего пасынка, как любящий отец для своего родного сына. Не пожалел денег на его учение. А чем отплатил ему ее сын, не будь худо о нем сказано? Вместо благодарности он возненавидел его, как врага.

Гюзюргул не одобряла грубости и жестокости мужа по отношению к своим односельчанам. Но Шоулу-то он кроме добра ничего не сделал. За что же тот невзлюбил его?

Гюзюргул, сетуя на свою судьбу, сидела возле постели Шоула в доме Сосуна, куда его перенесли после ранения. Кроме них сейчас здесь никого не было. Шоул был ранен в плечо, пуля прошла навылет, не задев кости. Его уложили у стены, возле очага, в котором горели сухие дубовые поленья, распространяя мягкое тепло по всей комнате. Огонь отбрасывал красноватые отблески на бледное лицо больного, на голые глиняные стены. Через круглое отверстие в потолке, заменявшее окно, была видна одинокая яркая звезда. В стенной нише чадила коптилка с колеблющимся язычком пламени. Слышалось пение сверчка.

Шоул лежал, прислонившись к стене, вытянув худые руки поверх одеяла, и молча слушал горькие сетования Гюзюргул. Лицо его заметно осунулось. Большие, как у матери, светло-карие глаза смотрели задумчиво и устало.

Время от времени он бросал на дверь нетерпеливые взгляды, словно поджидая кого-то. Наконец дверь отворилась и на пороге показалась Пери. На шее у нее висел маленький золотой медальон — подарок армянки Сусанны. Она была по-прежнему бледна, но лицо ее озярля сдержанная радость. Из-под края ее черного платка торчала рукоятка кинжала. Увидев Гюзюргул, девушка смутилась и, нахмутив тонкие черные брови, остановилась, не решаясь войти в комнату. Шоул, заметив это, приветливо и ободряюще улыбнулся ей.

— Пери, дорогая, входи, не стесняйся! — ласково произнес он.

— Входи, входи, дочка, — повторила старуха, но тут же, переведя настороженный и беспокойный взгляд на сына, тревожно шепнула ему: — У нее, кажется, под платком спрятан кинжал?

— Не волнуйся, мама, — ласково тронув ее руку, тихо сказал Шоул. — Это я посылал ее за ним к старику Шелбету.

Подойдя к постели больного, девушка вынула из-под платка кинжал с поясом, положила на одеяло и тут же вышла во двор.

Увидев кинжал, Гюзюргул чуть не вскрикнула. Задыхаясь от волнения, она наклонилась, дрожащими руками подхватила его. Прижала к груди и замерла, закрыв глаза. По ее щекам текли слезы. Потом она посмотрела на Шоула и прерывающимся голосом сказала:

— Сын мой! Ведь это кинжал и пояс твоего покойного отца. Откуда они?..

Знакомые вещи вдруг вернули ее к далеким дням юности, воскресили в памяти те не-

долгие счастливые дни, которые она прожила с Юсуфом, напомнили и о той страшной ночи, когда его привезли в селение мертвым с простреленной грудью.

Шоул подался вперед и здоровой рукой нежно обнял мать.

— Мама! — заговорил он. — Я знаю, тебе очень тяжело... И мне тоже. Но я должен сказать тебе всю правду. Только прошу тебя, возьми себя в руки и выслушай меня.

Но Гюзюргул продолжала плакать, прижимая кинжал к глазам, губам, к сердцу, точно обнимая живого Юсуфа, с которым она не знала ни горя, ни слез.

Глядя на мать, сын сам с трудом сдерживался, чтобы не заплакать. Наконец Гюзюргул, немного успокоившись, твердо посмотрела на сына.

— Скажи, кто убил твоего отца? Я должна знать об этом!..

И Шоул поведал ей все, что ему было известно.

Гюзюргул казалось, что она видит ужасный сон. Ей вдруг стало душно, сердце словно сжимали тисками. Ох, как она хотела, чтобы оно разорвалось на части, чтобы настал конец этим мучениям. Боясь потерять сознание и напугать больного сына, мать с трудом заставила себя подняться, взяла свою шаль и, ничего не видя перед собой, вышла из комнаты.

Шоул не стал ее удерживать, понимая, что она хочет побыть одна.

Как только Гюзюргул ушла, Шоул, поправляя на себе одеяло, случайно нащупал рукой маленькую, сложенную вчетверо бумажку, видимо, случайно или намеренно брошенную Пе-

ри. Он развернул ее и, приблизив к глазам, начал читать:

«Привет от Эсефа моей любимой Пери. Пери-джан, проклиная судьбу, я решил было бежать куда глаза глядят, хоть в преисподнюю. Но куда мне бежать, любимая, свет моих очей, если мое сердце не со мной?! Верно говорится: «От трона своего убежал, но от судьбы своей убежать не могу». Ты — моя судьба, жизнь моя! Душа моя рвется к тебе, светлый мир без тебя кажется душной тюрьмой, тесной и темной могилой. Я недалеко, в Молла-Халиле, скрываюсь в доме одного нашего кунака. Пусть даже мир перевернется вверх дном, мне все равно, я хочу только одного: или быть с тобой навеки, или умереть на твоих глазах. Я не в силах вынести это мучение.

Эсеф».

Прочитав письмо, Шоул подумал, что надо бы поговорить с Сосуном, пусть не держит сердце на Эсефа, не мешает несчастным влюбленным соединить свои судьбы.

От размышлений его отвлек скрип двери. В комнату вошел радостно возбужденный Рахмон, весело поблескивая единственным глазом. В солдатском мундире, с Георгиевским крестом на груди, он сегодня выглядел особенно нарядным и торжественным. Смуглые щеки его были гладко выбриты, усы с густой проседью молодцевато закручены. Он весь светился: вчера односельтани на сходе избрали его председателем совета. А сегодня все от мала до велика называли Рахмона не иначе, как «Совет-Рахмон». Следом вошел Сосун, его заместитель. Он был вооружен с ног до головы: за плечом висел пятизарядный карабин, сбо-

ку — пистолет, на поясе — кинжал. Карабин и пистолет были изъяты у Гомуила. Другой карабин, принадлежавший Илогу, отдали Рахмону.

Спустя минуту появились члены совета — старик Шелбет и Офдум Четверть Быка.

— Давайте рассаживайтесь и рассказывайте, что делает новая власть? — весело поглядывая на однопосельчан, сказал Шоул.

Рахмон и Офдум уселись возле постели, а Шелбет устроился ближе к очагу. Несмотря на то, что был конец осени, он ходил в той же одежде, что и летом: в заплатанных бязевых шароварах и рубашке. Сосун вышел во двор и вскоре вернулся с большой охапкой дров. Опустившись на корточки, он бросил несколько поленьев в огонь. Дрова сразу вспыхнули, с треском загорелись, легкие искры взметнулись вверх, к зияющему в крыше темному отверстию. В комнате стало светлее и уютнее. Старик Шелбет, растопырив у огня сухие ладони, блаженно улыбался, покачивая головой на тонкой морщинистой шее.

— Сидеть долго не будем, — предупредил Рахмон. — Надо идти в пимаз. Народ уже собирается.

Вынув из кармана несколько помятых листов бумаги, испещренных кривыми русскими буквами и цифрами, он бережно разгладил их. Затем, заглядывая в свои записи, бодро, точно по-солдатски рапортуя Шоулу, доложил о результатах замера земель, принадлежащих Гомуилу, численности его скота, о разных товарах, конфискованных в его лавке, которые, по решению совета, будут распределены в первую очередь среди самых бедных.

Никогда еще в помещении нюгдинского нимаза не собиралось столько людей, сколько в тот вечер. Вместе с мужчинами пришли и жепщицы, которых раньше вообще не пускали в нимаз. Нюгдинцы, словно забыв, что они находятся в божьем храме, перебрасывались шутками, шумно разговаривали, спорили. К потолку над амвоном была подвешена большая железная лампа, на полу лежало несколько мешков соли и сахара, ящики с мылом, тюки мануфактуры, с десятков ружей и горка ружейных патронов. Все это было взято из кладовых богача Гомуила.

Шоул и члены совета во главе с Рахмоном стояли на амвоне. Рахмон выступил вперед и попросил собравшихся соблюдать тишину. Все сразу умолкло, когда начал говорить Шоул.

— Товарищи! С этого амвона раби Шафад возносил молитвы богу, читал вам сладкие, но пустые и лживые проповеди о вечном блаженстве, которое будто ожидает на том свете того, кто будет безропотно гнуть спину на богачей, отдавать плоды своих рук духовенству, жертвовать своим благом ради их богатства, и грозил вечной карой тем, кто осмелится поступить иначе. С этого амвона наши духовные отцы благословляли кровавых царей и правителей, которые держали народ в крайней нищете, беспросветном рабстве и постоянном страхе...

Негромкий голос Шоула становился все увереннее и тверже, а собравшиеся с напряженным вниманием слушали своего земляка. Он говорил о тех обидах и притеснениях, которые терпели бедняки от богачей и царских чиновников; рассказал о преступлениях своего

отчима Гомуила, которые сходили ему с рук, потому что такие же богачи, как он, сидящие в окружной администрации, поддерживали его; о первых декретах Советской власти. Свое выступление он закончил под одобрительный гул собравшихся.

Нимаз загудел, как улей, в котором пово-рошили палкой, когда вышел Рахмон с бумагой в руке и объявил, что сейчас прочтет список, кого из сельчан решено наделить землей за счет конфискованных земель старосты и кто из крайне нуждающихся получит мануфактуру. Рахмону не дали договорить. Раздались нетерпеливые голоса:

— Давай, объяви сперва о земле!..

— Правильно! Покойник хоть три аршина земли имеет, а у меня и того нет!

— Только по-божески, по справедливости! Не так, чтобы одному досталась жирная земля, а другому — чахлая!

Поправляя на ходу сползающую с плеч рваную шубенку, к амвону подошел старик Одом. На минуту все в ожидании притихли. Старик сначала бросил взгляд в сторону разноцветных тюков, а потом повернулся к амвону, где стояли Шоул и представители Советской власти в селе: Рахмон, Сосун, Офдум Четверть Быка и Шелбет. Приподнявшись на цыпочки и взмахнув над головой сжатым кулачком, он прокричал петушиным голоском:

— Я требую, коли теперь наша власть, дать мне не только хорошей земли, но и хорошего ситца, иначе, клянусь небом, может произойти смертоубийство!..

— Что за угроза?! — с притворным возмущением сказал Офдум Четверть Быка.

Рахмон выступил вперед и, склонившись над перилами амвона, тоже обратился к старику с шутливым упреком:

— Если ты такой храбрый, почему не убил Гомуила или Илогу, когда они мучили нас, а нам теперь грозишь?..

Люди громко засмеялись: у всех было возбужденное, веселое настроение. Старик пропустил все это мимо ушей, энергично мотнув головой, заговорил:

— Да, не ручаюсь, может произойти смертоубийство... Мочи моей нету дальше терпеть такое. У меня и старуха, и дочери — все раздетые, прикрыться им печем. Даже за водой они ходят теперь по ночам, когда никого нет на улице. Не могу же я на старости лет втапывать в грязь свою мужскую честь — ходить с кувшином за водой вместо женщин!..

Сосуну больно было это слышать, ведь он уже смотрел на Одома как на своего будущего тестя.

Старик хотел еще что-то сказать, но голос его дрогнул, осекся, на глазах выступили слезы.

— Садись на место, дядя Одом, мы учтем, обязательно учтем твою просьбу, — успокоил его Шоул.

Одом смущенно покрутил опущенной головой, передернул сухонькими плечами и, провожаемый сочувственными улыбками и шутками, направился к своему месту.

Едва Рахмон приступил к чтению решения совета о раздаче земли, мануфактуры безземельным и самым бедным сельчанам, как в помещение пимаза влетел взволнованный и запыхавшийся лезгин Гасан, подпоясанный пат-

ронташем, с ружьем за спиной и широким кинжалом на поясе. Худощавое лицо его, обросшее седой клочковатой щетиной, было красно от возбуждения. Все разом умолкли.

— Кунаки! — крикнул Гасан. — Богачи нашего селения и Аглаби собрали вооруженную банду. Они сегодня же ночью хотят напасть на вас, сжечь и разграбить село, отомстить вам за поддержку большевиков. Их ведет сюда ваш односельчанин — чауш Илогу. Не теряйте попусту время!

Грозное известие встревожило всех. Нюгдинцы окружили Гасана и начали наперебой задавать ему вопросы. Некоторые было бросились бежать, но голос Шоула остановил их.

— Товарищи! — громко произнес он, взмахнув над головой гневно сжатым кулаком. — Враги надеются запугать нас, чтобы мы отказались от Советской власти. Они хотят, чтобы все было как при кровавом царе, хотят посадить вновь на наши шеи Гомуила и ему подобных насильников. Дадим им отпор! Сила и правда за нами!..

Среди наступившего короткого молчания вновь раздался тонкий голосок старика Одома:

— Будь прокляты они, мучители и душегубы!.. — Он решительно сбросил с плеч шубу и вышел вперед, с жаром ударив кулачком в воинственно выпяченную грудь, измученную малярией. — Пусть попробуют супуться!.. Дайте и мне ружье. Я первым пойду сражаться с ними. Это из-за них, проклятых, у меня все женщины сидят нагишом!..

На этот раз слова старика вызвали не смех, а гул одобрительных возгласов.

Шоул призвал всех соблюдать тишину и

от имени Советской власти, всего нюгдинского джамаата выразил Гасану сердечную благодарность за его благородный поступок. Гасан, польщенный словами Шоула, громко произнес в ответ:

— Я приехал не один. Со мной мой сын и два племянника. И мы вместе с вами будем защищать ваше село.

Основная группа нюгдинцев вместе с Гасаном, его сыном и племянниками укрылась в засаде за высокой оградой сада, возвышающейся у дороги при въезде в село, откуда ожидали появления ночных пришельцев. Возглавляли ее Шоул и Рахмон. Остальные, вооруженные чем попало: кинжалами, вилами, топорами и длинными кольями, выдернутыми из заборов, отправились под командой Офдума в противоположную часть селения и перекрыли дорогу, ведущую в Нюгди с южной стороны.

Стояла напряженная тишина. Было темно и холодно. На небе робко мигали звезды. Застыли в немом молчании, словно насторожившись, уже почти оголенные деревья. Даже собаки в селе не тявкали, будто чуя приближение какой-то опасности. Дорога между садовыми изгородями напоминала сейчас темный, бездонный ров. Время тянулось бесконечно долго, руки и ноги сковал холод. Но вдруг чуткий слух сидевших в засаде уловил нестройный конский топот. С возрастающей тревогой вглядывались все в ночную темноту.

— Стрелять будем, когда поравняются с нами, чтобы наверняка, — шепотом передал Шоул по застывшей в ожидании сигнала цепи,

сжимая здоровой рукой пистолет, который ему отдал Сосун.

Через несколько минут за поворотом показались черные силуэты всадников. Они двигались не спеша, видимо уверенные в том, что никто в Нюгди не знает об их приближении. Едва первые ряды подъехали к засаде, ночную тишину всколыхнули дружные залпы. Вспышки огня разорвали темную завесу ночи, тревожным светом озарили дорогу между садовыми изгородями, злые и растерянные лица бандитов, мотающиеся лошадиные морды. Послышались крики, громкое ржание испуганных лошадей. В селе потревоженные собаки подняли лай, кричали женщины, плакали дети.

Налетчики, застигнутые врасплох, побросав убитых и раненых, открыли беспорядочный огонь и в панике отступили. Но нюгдинцы продолжали оставаться на своих местах, охраняя дорогу в село. После первого успеха они приободрились и, разгоряченные боем, уже не чувствовали ни холода, ни усталости, шумно радовались. Сосуну казалось, что один из всадников, который после его выстрела, вскинув руки, упал с коня, был Илогу. Ему не терпелось перелезть через изгородь на дорогу, посмотреть: есть ли среди убитых ненавистный всем чауш. Но, подчиняясь приказу Шоула, он остался на месте, решив дожидаться утра.

Вдруг над головами сидевших в засаде нюгдинцев пронеслось несколько пуль. Стреляли с тыла. Видимо, бандиты, спешившись, пробрались в сад, у ограды которого нюгдинцы сторожили дорогу. Стрельба усилилась. По сигналу Шоула, обороняющиеся повернули назад, залегли и открыли ответный огонь.

В предрассветном мраке все смешалось и перепуталось. Теперь трудно было разобраться, где свои и где чужие. В разгар схватки Сосун не заметил, как, совсем оторвавшись от своих, оказался в окружении нескольких бандитов. Рядом стояло голое ореховое дерево с широким стволом. Вокруг него на застывшей земле густо лежали припорошенные инеем большие желтые листья. Чуть подалее тянулся узкий арык с прозрачной, как в роднике, водой. Над ним клубился парок.

Сосун быстро отполз к дереву и из-за него стал отбиваться от наседавших бандитов. Один, видно самый нетерпеливый, вскочил на ноги, чтобы броситься на него, но тут же, сраженный пулей Сосуна, упал, с криком выронив ружье из рук. Другой медленно и упорно подползал к нему сзади, все время прижимаясь к земле. Над пожухлой травой изредка мелькала его голова в черной папахе. После очередного меткого выстрела черная папаха опустилась на землю и больше не поднималась. Но остальные, держа Сосуна в огненном кольце, продолжали теснить его со всех сторон. Несмотря на предутренний холод, лицо Сосуна жарко пылало, глаза заливал горячий пот. То и дело отрывая руку от винтовки, он нервно и поспешно вытирал лицо рукавом старой черкески. Бандиты, прячась за кочками и кустами, подползли к нему настолько близко, что он слышал их напряженное сопение. Сосун нажал на спуск — напрасно. Он открыл затвор, судорожно пошарил рукой в карманах брюк и черкески... — патроны были истрачены, все до единого. Не дожидаясь, когда враги набросятся на него, Сосун отшвырнул в сторону винтовку и

пружинисто вскочил на ноги, поднявшись во весь рост. Едва он выхватил кинжал из ножен, как одновременно прогремели два выстрела. Выронив кинжал и покачнувшись, с приглушенным стоном Сосун упал ничком на подмерзлую землю.

Первое, что он увидел, когда с трудом открыл затуманенные глаза — было торжествующее лицо Илогу, склонившегося над ним с кинжалом в руке. Его маленькие, быстрые, зеленоватые глаза смотрели на Сосуна с ненавистью, ногой он с силой давил ему на грудь. Внутри у раненого все горело, нестерпимо хотелось пить. Он попытался повернуться к арыку, но нога сильнее придавила его к земле.

Откуда же взялся этот рыжий дьявол?.. Сосун думал, что убил негодяя, а оказалось, он жив...

Глаза заволакивал туман, голова бессильно клонилась набок, он чувствовал, что неудержимо проваливается в бездну.

Вдруг Сосун услышал выстрел. Затем кто-то подхватил его на руки и понес. Сквозь тяжелую дрему, которая с каждой минутой все сильнее овладевала им, до него донесся встревоженный голос:

— Сосун, сын мой, очнись! Это я, Рахмон... Послушай, что я тебе скажу...

Потом все звуки сразу отдалились, потонули в обступившей его тишине. В угасающем сознании промелькнула картина из его не столь уж далекого детства. Вот Сосун идет с отцом, обрядившимся гудилом, по тесным улочкам родного села и выкликает осипшим голосом:

— Идет гудил по селу!..

А ребяташки, бегущие за ним, радостно и возбужденно восклицают в ответ:

— Хо-хо!

— Да отведет бог от вас все беды и невзгоды! — продолжает Сосун.

— Хо-хо! — восторженно кричит шумная детвора...

Потом это видение сменяется другим: вместе со своими односельчанами идет он через сельский майдан. Все в новых ярких одеждах. А девушки в разноцветных нарядах — словно деревья в пору цветения. Впервые Сосун видит на худых плечах вечно мерзнущего старика Шелбета теплую шубу. Старик, гордый, довольный обновой, вертя головой, счастливо улыбается, совсем как вчера ночью у очага в его доме. Рядом с ним, наряженный в зелепый шелковый бешмет, какой носил богач Гомул, шествует маленький старичок Одом со своими дочерьми в красивых платьях. Слева и справа от аксакалов идут Шоул, Рахмон в солдатском мундире с Георгиевским крестом на груди, Офдум Четверть Быка, старуха Эвшаг, лезгин Гасан со своим сыном и племянниками, — стройными, как молодые тополя, юношами. Пери и Эсеф, оба бесконечно счастливые, сияющие, шагают рядом. А он сам глядит на сестру и зятя и, сдерживая довольную улыбку, с напускным недовольством косится на них: неприлично так явно обнаруживать свою радость на людях. Откуда-то доносятся веселые звуки зурны и барабана: чувствуется, что сегодня какой-то необыкновенный праздник.

Губы Сосуна расплываются в широкой счастливой улыбке...

Рахмон с болью и отцовской нежностью смотрел на закрытые веки, на посиневшее лицо Сосуна, на плотно сжатый в застывшей улыбке рот, из уголка которого тонкой струйкой сочилась кровь. И чудилось Рахмону, что Сосун улыбается, слушая, как он говорит ему о том, что они наголову разбили бандитов — подручников Гомуила, что он, Рахмон, убил подлеца Илогу, и о том, что такая же участь, справедливое возмездие ждет всех, кто поднимет руку на их свободу.

— Сосун, сын мой, ты меня слышишь?! — громко кричит Рахмон, словно Сосун не лежит сейчас на его онемевших руках, а где-то далеко-далеко.

Но Сосун не отвечает...



РАССКАЗЫ



Как я писал диссертацию

— Почему бы тебе не написать диссертацию, не стать кандидатом наук? А там, как говорится, бог даст, и доктором будешь,— сказала мне жена ласково, словно уговаривая, когда мы сидели дома одни за вечерним чаем.

Вопрос жены показался мне настолько странным и неожиданным, что я даже поперхнулся. Поставив стакан на блюдце, я с полным недоумением посмотрел на свою дражайшую половину.

— А с чего это вдруг тебе пришло в голову, что я должен написать диссертацию? — недовольно спросил я ее. — Зачем мне это надо?

— Как зачем? — теперь уже не ласково, а с упрямыми раздраженными нотками в голосе произнесла жена, нахмурившись. — А что толку от того, что ты пишешь эти свои смешные хабары? Люди читают, смеются, а мне, скажу тебе, не до смеха, плакать впору.

— Почему?!

— Сама знаю — почему! — внезапно ожесточается жена, пускаясь в длинные рассуждения. — С тобой нельзя по-человечески ни посидеть, ни поговорить, ни посмеяться. Вечно

сидишь в своем углу, как надутый индюк, и думаешь, думаешь, пока в твоей сумасбродной голове не сложится какой-нибудь хабарिशка. А если и разговариваешь, то сам с собой, как помешанный, — дети даже начинают пугаться тебя. Если мы видим улыбку на твоей вечно озабоченной, угрюмой физиономии или слышим твой смех, так только тогда, когда ты пинешь эти злосчастные хабары, будь они неладны... Клянусь, житья в этом доме нет... — со слезами заключает она.

Между прочим, эту песню я от нее слышу не в первый раз. Но насчет диссертации — это что-то новое. Чтоб она на самом деле не расплакалась (у женщин, сами знаете, глаза на мокром месте), я, как можно мягче, будто оправдываясь, говорю ей:

— А что мне делать, если у меня профессия такая — писать?

— Что делать?! Перемени профессию, стань кандидатом, доктором. Брось свою проклятую писанину. Она у меня сидит вот тут, в печенке!

Я чувствую, как во мне поднимается злоба против нее. Мне очень обидно, досадно, что жена, самый, казалось бы, близкий человек, с таким пренебрежением говорит о моей трудной, но почетной профессии. Мне тоже хочется сказать ей в ответ что-то обидное, колкое, но, бросив взгляд на ее перламутровую коробочку на серванте с набором разных склянок, пузыречков, таблеток от нервов, головной боли, давления, бессонницы и прочего, сдерживаю себя. И я пытаюсь как-то объяснить ей, что у меня нет никакого призвания к профессии ученого, что написать диссертацию для

меня — все равно что иглой вырыть колодец.

— Чепуха! — громко возражает жена и туже, понизив голос, добавляет другим тоном: — Конечно, среди тех, кто пишет и защищает диссертации, много, очень много умных, талантливых людей, дай бог им здоровья. Но встречаются и такие, которых, поверь мне, не назовешь ни умными, ни талантливыми.

И в подтверждение своих слов она ссылается на какого-то своего дальнего родственника, глупее и бестолковее которого она якобы никого еще не встречала в своей жизни.

— А вот, поди, защитил кандидатскую, — с завистью и обидой говорит она. — Глядишь, скоро и доктором станет. А ты, что, хуже его?

Не скажу, чтобы довод жены, как говорится, попал мне в самую жилку. Но все же он произвел на меня впечатление, и я призадумался: с одной стороны, мне до смерти надоели вечные сетования желы по поводу моей профессии, а с другой, — я поневоле вспомнил с грустью, сколько боли и огорчений доставляют мне порой мои юмористические рассказы... Некоторые люди в моих героях узнают себя и при встрече косятся на меня, а иные даже открыто бранятся. Сталкивался я и с такими, которые ничего не смыслили в том, что скрывается за той или иной моей шуткой, а принимались толковать мои рассказы как им хотелось.

Пораскинув умом, я решил, правда без особого энтузиазма, последовать совету жены. Но передо мной тут же встал вопрос: какую тему избрать для своей диссертации, какую область научной мысли обогатить мне своим вкладом?

«А что, если разработать тему: «Роль профсоюзной организации в обеспечении переселенцев с эйлага¹ на кишлак и с кишлака на яйлаг?» — подумал я. Но тут же с сожалением отбросил эту мысль. Хотя проблема сама по себе очень важная и к тому же представляет большой интерес для пауки, но я сразу почувствовал, что она мне не по зубам, не осилю. Тем более о профсоюзной работе у меня весьма туманное, отвлеченное представление. Вся моя связь с профсоюзной организацией и профсоюзной организации со мной до сих пор сводилась лишь к уплате членских взносов.

— А скажи, пожалуйста, на чем защитил кандидатскую твой этот самый... бестолковый родственник? — озадаченно спрашиваю я жену.

— На каких-то насекомых, — с готовностью отвечает жена и улыбается, видимо решив, что, благодаря ее настойчивым советам и стараниям, я, хотя и поздно, но все-таки наконец надумал взяться за ум, то есть за диссертацию.

Должен сказать, что, услышав ответ жены, я почувствовал облегчение, можно сказать, почти обрадовался. Что-что, а уж насекомых, слава богу, я хорошо знаю. Мое детство и юность прошли в глухом селении. Наш дом всегда кишел блохами, клопами, тараканами, мухами, комарами и множеством всяких прочих шевелящихся, копошащихся существ. Помню, однажды наш сосед, поздоровавшись с моим отцом, спросил его:

— Довуд! Как живешь-можешь?

¹ Эйлаг — зимние пастбища, яйлаг — летние пастбища.

— Валлах, сосед, живу хлопотливо и блоховато,— с грустной усмешкой ответил мой отец, в этот самый момент прихлопнув на своем черном от загара, заросшем затылке блоху, неосмотрительно выползшую из его шубы.

И вот я тоже, как и родственник моей жены, решил написать о насекомых, точнее, об одном из самых распространенных видов насекомых — домашней мухе. Но когда я стал интересоваться нужной мне литературой, то оказалось, что о жизни, строении, биологии, вреде комнатной мухи написано немало трудов и среди них довольно солидных. Прочитав их, я даже изумился: у иного черствого человека и не угадаешь, где там сердце или душа, а ученые, оказывается, точно определили, что у малюсенькой ничтожной мухи сердце на месте и нервная система в полном порядке.

Но наличие богатой и разнообразной литературы о мухе не обескуражило меня и не поколебало мою решимость писать о ней. Наоборот. Наука, как и Вселенная, не имеет границ. Я избрал себе новую тему, никем не исследованную: «Отличие характера городской мухи от сельской и главная истребительная мера борьбы с той и другой».

Чтобы придать больший вес и значительность моей работе в глазах будущих оппонентов, я во введении, ссылаясь на авторитеты, не преминул указать, какую большую опасность представляет комнатная муха, будь она городская или сельская, для жизни и здоровья граждан. И что, поскольку она — один из основных переносчиков возбудителей многих заразных болезней (я насчитал их более сорока) и распространена во всех обитаемых рай-

онах земного шара, любая новая работа о домашней мухе и средствах борьбы с ней, в том числе и моя, само собой разумеется, является ценной и полезной для науки, а стало быть, и для человечества.

Перейдя к изложению одного из основных вопросов моей темы: «Отличие характера городской мухи от сельской», я напомнил, что хотя по своему строению, образу жизни, биологическим признакам городская муха ничем не отличается от сельской, но в их характерах все-таки наблюдается известное различие. Городская муха более шустрая, подвижная, импульсивная, впечатлительная. У нее быстрая реакция, она более назойлива, если не сказать — нахальна. Когда гонишь ее через дверь, она опять тут как тут, без всякого стеснения влетает через окно. Пытаешься прогнать ее в окно, она липнет к стеклу и бежит по нему с виртуозностью канатоходца, будто знает, оказывая, что как из-за блохи шубу не сжигают, так и из-за мухи ни один человек, будь он даже круглый идиот, не станет бить стекла в окнах, тем более сейчас, когда спрос на стекло очень высок.

Сельская же муха обладает более спокойным нравом. Она сонлива, малоподвижна, склонна к меланхолии, не так надоедлива.

Я на обширном материале показал, что отличие городской домашней мухи от сельской обусловлено внешними факторами и существенной разницей между обстановкой и условиями городской и сельской жизни.

Наличие шума, постоянные сигнальные гудки, оглушительные сирены пожарных машин, раздражающая трескотня мотоциклов,

всевозрастающая интенсивность транспортного движения, многоэтажные жилые дома, задымленная атмосфера и, конечно, нехватка легкого «подножного корма» — все это накладывает определенный отпечаток на характер и поведение городской мухи. В то время, как чистый деревенский воздух, покой и тишина, обилие разнообразной пищи и т. д. делают сельскую муху более уравновешенной.

Но главным достоинством диссертации и своей несомненной заслугой перед отечественной и мировой наукой я считал то, что первым среди ученых указал на возможность использования бесчисленных воробьиных стай как самого мощного и эффективного в перспективе средства полного уничтожения этого врага человечества — домашней мухи, хотя и не отрицал некоторых достоинств ныне применяемых профилактических и истребительных мер борьбы с ней.

Почему я остановил свой выбор именно на воробье, а, допустим, не на ласточке, соловье или чижики, несмотря на то, что все они принадлежат к семейству воробьиных? Дело в том, что в отличие от этих птиц, которые, едва почуввав холод, сломя голову удирают в жаркие страны, а возвращаются лишь в разгар весны, воробей птица оседлая. Но от него человеку больше вреда, нежели пользы, он наносит огромный ущерб садам и посевам. Ежегодно в ненасытных воробьиных зобах исчезают сотни тысяч тонн зерна, содержащегося на токах, элеваторах и зерноскладах. В качестве конкретного и убедительного примера (то есть, как принято говорить в диссертации — полевого материала) я сослался на известный мне

случай. Один из колхозных зерноскладов после уборки урожая почти до самой крыши был засыпан первосортной пшеницей. Спустя три месяца пришли на склад члены ревизионной комиссии, чтобы проверить наличие зерна в нем и как оно хранится. И что же вы думаете? Только колхозные ревизоры заглянули внутрь склада, они так и ахнули от удивления. Им, конечно, было от чего ахнуть. Дело в том, что все это время со склада по колхозной разнарядке не было отпущено ни одного килограмма зерна, но его, как ни странно, осталось меньше половины. Видя крайнее изумление ревизором, завскладом, не долго думая, проворно засунул пальцы в рот и пронзительно свистнул. Тотчас же испуганная стайка воробьев дружно поднялась с груды зерна и поспешно скрылась между пыльными балками потолка.

— Видите! — обрадованно воскликнул завскладом, указывая рукой на воробьиную стаю. — Все они сожрали, проклятые!..

После того, как расстроенные и удивленные ревизоры, словно на поминках, молча, без застольных тостов, распили вместе с завскладом несколько бутылок вина и основательно закусили, они составили акт, в котором указали, что причиной обнаруженной ими при ревизии недостачи зерна являются, порази их чума, воробьи! А что касается завскладом, то он невинен, как ангел. Подтвердив, таким образом, на живом факте, сколь вреден воробей для наших хлебных запасов, я в своем научном труде выдвинул идею: заставить воробья переключиться со злаков и ягод на мух, будь они городские или сельские, и, как говорится, убить одним выстрелом двух зайцев.

Я не только подал идею, но и подсказал, как ее следует воплотить в жизнь: предложил произвести скрещивание ласточки с воробьем, основываясь на том, что ласточка, в отличие от воробья, питается насекомыми, и главным образом — мухой. Она развивает скорость до ста двадцати километров в час и обладает большой маневренностью. Я рекомендовал путем неоднократных скрещиваний и всевозможных экспериментов эти полезные для нас качества ласточки передать воробью и, таким образом, вывести помесь ласточки и воробья — новую породу, занимающуюся исключительно вылавливанием и истреблением мух...

Пока я писал диссертацию, жена была очень внимательна и заботлива ко мне, как в первые счастливые годы нашей супружеской жизни. Сама ходила осторожно, на цыпочках, кашляла в кулак. Если кто-нибудь из детей начинал шуметь, озорничать, она тут же одергивала его и грозно покрикивала:

— Тихе, дети! Папа пишет диссертацию!

Когда я закончил свой труд, я, понятно, первым долгом прочитал его жене. Она осталась очень довольна. Не откладывая дела в долгий ящик, я на следующий же день отправил свою диссертацию на кафедру биологии в один из университетов страны... Но вот беда: до сих пор оттуда ни духу, ни слуху, хотя с того времени прошло более года. Знаете, всякое приходит в голову, тем более что я человек мнительный... Но моя жена, в отличие от меня, спокойна, не теряет надежды. Она все ссылается на своего глупого и бестолкового родственника.

Ах, была не была, расскажу вам, что приключилось со мной, старухой, недавно. Клянусь небом, помрете со смеху! Правда, я божилась никому не рассказывать об этом, но что делать, шайтан,— да чтоб он сгинул,— так и тянет меня за язык: не могу молчать.

А приключилось со мной вот что. Вчера вечером, когда я выходила из дому, двое дюжих молодцов разом налетели на меня, как коршуны на голубку, завернули в бурку и, от радости не чуя ног под собой, во весь дух умчали куда-то. Но это еще что! Самый главный похититель стоял на коленях передо мной, как перед богиней, слезно умолял меня, чтобы я не отвергала его любовь, иначе, мол, белый свет ему не будет мил. Вот как!

Но что вы скажете, если я вам сообщу по секрету: сама я хотела, чтобы парни меня похитили? Ага! У вас, наверно, так и вертится на языке: «Ах, ты, мол, дура старая! С ума, что ли, спятила? Или кровь взыграла на старости лет?» Но, не зная, что к чему, не беритесь судить, хорошо ли я поступила или дурно. Знаете поговорку: «Не дойдя до речки штаны не скидывают». А то, что я старая, это мне не в укор, а в честь, не даром свой век прожила. Один мой сын — боевой офицер, день и ночь границу нашу охраняет, другой мой молодец — лучший чабан, его портрет в газетах печатали, а дочь моя, дай бог ей много сил и здоровья, скоро матерью-героиней станет.

Если еще хотите знать, в свое время я была пригожа не меньше, чем самая красивая молодуха сейчас в нашей округе. Дай бог па-

мяти, точно не помню, когда это было, не то пятьдесят, не то шестьдесят лет тому назад, к нам в аул приезжал один ашуг, веселый такой, как соловей в весеннюю пору. Так тот ашуг в своей чудесной песне срапывал мои щеки с румяным яблоком, уста — со сладчайшим медом, а зубы — с аравийским жемчугом, правда, от этого «жемчуга» у меня остался во рту один только передний зуб. И стоит мне засмеяться, как мой годовалый внучок тут же поднимает крик, боится, паршивец, думает, я хочу укусить его.

Да, я немного отвлеклась и уже забыла, с чего начала... Вот вспомнила!.. Сижу, значит, я вчера днем одна у себя в сакле, качаю в люльке внучонка, а сама слегка дремлю. Слышу: кто-то открыл дверь и тихо вошел в комнату. Смотрю — это Михаил пришел, соседский парень. Лицо у него очень приметное: чересчур смуглое, скуластое, брови лохматые, а улыбка — до ушей. Я его за версту увижу — и сразу узнаю. Он славный паренек: скромный, тихий и работник хороший.

Михаил остановился посреди комнаты, смотрит на меня и ничего не говорит, только чешет затылок, смущенно улыбается.

«Ну, Михаил, с какими добрыми вестями к нам пожаловал?» — приветливым голосом спрашиваю его.

Михаил, видно, немного осмелел, подошел поближе и присел на корточки возле меня. «Знаете, бабушка Фатьма, — говорит он мне доверительно, — у меня к вам очень важное дело».

Я, правду сказать, гляжу на него и недоумеваю: какое у него может быть ко мне, ста-

рухе, важное дело? Я, что ли, начальник какой?..

«Ну, говори, что у тебя за «важное дело» ко мне», — неохотно отвечаю ему, зевая во весь рот.

А Микаил, прежде чем сказать, зачем пришел, внимательно огляделся по сторонам и потом чуть слышно прошептал: «Только, бабушка Фатьма, чур! То, что я вам скажу сейчас, — большая тайна. Ни одна живая душа, кроме нас, не должна знать об этом, обещаете?»

Эге, думаю, коли он так предупреждает, стало быть, дело и впрямь не шуточное. Я сразу повеселела. Сонливость мою как рукой сняло, любопытство начало разбирать меня. А я просто ужас какая любопытная. Мой покойный муж, мир его праху, бывало, частенько ругал меня за эту слабость. «Тебя, Фатьма, хлебом не корми, — не раз выговаривал мне блаженной памяти мой муж, — только дай волю ходить по аулу и собирать всякие хабары, а потом весь день трещать о них без умолку, как болтливая сорока на весь лес».

«Ну, ладно, не тяни, рассказывай!» — то роплю я Микаила, чуть толкая его в плечо.

Микаил, придвинувшись еще ближе, шепотом говорит мне: «Мы сегодня вечером, бабушка Фатьма, хотим украсть одну девушку...»

Вай! Как только я это услышала, кровь бросилась мне в голову. Схватив с пола длинную палку (я всегда ее держу при себе, чтобы можно было не вставая с места прогонять кур и цыплят, которые забираются в саклю), я в гнев замахнулась на Микаила. «Сейчас же разобью твою дурацкую башку, харамзаде! — крикнула я. — Как это так — украсть чужую

девушку! Я-то думала, ты славный парень, а оказывается!..»

Ребенок от моего крика проснулся и так завопил, будто сто чертей налетели на него во сне. Да и Михаил, вижу, сам тоже испугался не на шутку. Схватив мою руку, он начал умолять меня: «Бабушка Фатма, ради бога, успокойтесь! Я совсем не то хотел сказать... Послушайте же дальше!..»

Я неохотно положила палку и, сердито косясь на Михаила, принялась опять качать ребенка. «Пес тебя знает, Михаил,— ругаю его.— То говоришь, что хочешь украсть девушку, а как увидел у меня в руках палку, запел совсем другое. Поди разберись!..»

Короче говоря, из слов Михаила я поняла, что у него есть закадычный друг Ильяс. Этого Ильяса я тоже знаю, очень видный из себя парень, но пьяница, нигде не работает, сидит у бедной матери-вдовы на шее. Словом, один из тех негодников, о которых говорят: «Вечером пьяница — утром лентяй». Он, оказывается, по уши влюблен в девушку Рукият. Легкомысленный, а знает, шельма, в кого влюбиться. Она такая стройная, миленькая, притом, знаете, самая лучшая доярка на ферме. В прошлом году, говорят, она заработала шестьсот трудодней. На двух больших машинах привезли ей зерно и разное добро из колхозного амбара. Если верить Михаилу, этот бездельник ей тоже нравится. Но выйти замуж за него она боится. И правильно. «Кто пьяницу полюбит,— свою жизнь загубит».

И вот этот самый Ильяс решил похитить славную Рукият, а Михаила просит, как друга, помочь ему в этом нечистом деле. А Михаил,

словно между двух огней, отказать другу — духу не хватает, позорить девушку — совесть не позволяет. Но самое-то главное Михаил прошептал мне на ушко. Я, не долго думая, кивнула головой в знак согласия.

И вот поздно вечером, когда у нас все в доме поужинали и легли спать, я быстро накинула на голову платок и вышла из дому. Ночь была темная, безлунная.

Когда я очутилась во дворе, где живет наша Рукият, кто-то (человек, видно, очень сильный и ловкий) неожиданно набросил на меня тяжелую бурку. Завернув меня в нее, как младенца в пеленку, взвалил на плечи и понесся куда-то со всех ног. Все это произошло так внезапно, так быстро, что я и крикнуть не успела.

«Куда ее теперь?» — слышу я сдавленный голос Михаила. «Забыл, что ли? — отвечает Ильяс. — Неси в Пещеру любви, да поскорее, пока нас не заметили».

Пещера любви, — огромная и темная, находится в высокой скале, за версту от нашего аула. Весною и осенью во время перегона овец чабаны укрываются в ней от дождя и гроз. Почему ее называют Пещерой любви? Говорят, когда-то один из слуг хана похитил девушку из его гарема, которую очень любил. Скрываясь от ханского возмездия, они здесь нашли приют для своей любви...

«Ты, пожалуйста, осторожно, — услышала я предупреждающий голос Ильяса, когда мы отошли на почтительное расстояние от аула, как я поняла по отдаленному лаю собак. — Ты, случаем, не задушил ее? Я же знаю, какой ты медведь! Видишь, она ни звука не издает». —

«Да ты, Ильяс, не волнуйся,— начал успокаивать его Микаил, который нес меня на своих широких плечах, как купец свой драгоценный клад.— Она, видно, с перепугу лишилась голоса. Пустяки... А что касается Пещеры любви, я туда с закрытыми глазами пройду!..»

И вот, как только мы оказались в пещере, Микаил, пыхтя и отдуваясь, осторожно, будто хрупкий сосуд, кладет меня на землю, прислонив спиной к стенке.

«Зажги фонарь!»— слышу я опять нетерпеливый голос Ильяса.

Как только свет фонаря осветил закопченные дымом чабанских костров стены пещеры, влюбленный Ильяс с жаром кинулся ко мне, упал на колени.

«О, моя дорогая! О, моя ненаглядная! — прижимая руки к груди, обратился он ко мне, как все равно в театре.— Прости мой дерзкий поступок! Умоляю тебя, будь моей женой! Я без тебя жить не могу!..»

Я подождала, пока Ильяс кончит изливать душу, а потом разом скинула с себя бурку и с усмешкой уставилась на него.

«Ладно, разбойник, пусть будет по-твоему,— крикнула я ему.— Если ты и вправду так меня любишь и не можешь без меня жить, так и быть — я согласна выйти за тебя замуж!»

У Ильяса от неожиданности глаза полезли на лоб и язык будто отнялся. Он вскочил и минуту стоял точно вкопанный, не в силах двинуться с места. «Ах, это вы, бабушка Фатьма! — упавшим голосом вымолвил он наконец. А потом накинулся на бедного Микаила: — Кого же ты прихватил, идиот? Где были твои глаза?!»

«Ва-ай! — шлепнул себя по лбу Михаил, притворяясь удивленным и расстроенным. — Волновался очень, да и темно было... Что теперь будет?!»

Ильяс, видя, что дело скверно, хотел было броситься бежать, но я успела вовремя удержать его за пестрый галстук, как непокорного бычка за веревку. «Со мною, — говорю, — шутки плохи. Раз похитил, оскорбил мою женскую гордость, так изволь жениться. Иначе сейчас же иду жаловаться в сельсовет. Тюрьмы и позора тебе не миновать, так и знай!» А Михаил, пряча хитрую улыбку, весело подмигивает мне: дескать, машаллах, бабушка Фатьма, вгоняй его в пот, выбей у него дурь из головы!..

Я наступаю на Ильяса, а он пятится от меня назад, боится, как бы я не заключила его, «милого женишка», в свои нежные объятия.

«Что вы! что вы, бабушка Фатьма!.. — с ужасом говорит Ильяс, бледнея. — Произошла ошибка!» — «А-а! Ошибка?! — с силой дернув его за галстук, кричу я. — Выходит, что ты сегодня в темноте подстерегал, как волк овцу, невинную девушку, чтобы похитить ее? А по ошибке сдавал меня, старуху?! Если бы так похитили твою мать или сестру, как бы тебе это понравилось?..»

Я продолжаю задавать ему жару, а Михаил то и дело толкает его в бок и говорит тихо, но так, чтобы я слышала. «Падай сейчас же в ноги бабушке Фатьме, проси прощения, иначе — считай, что мы с тобой пропали!»

И вот, мои любезные, чтобы долго не морочить вам голову, скажу: кончилось это дело тем, что напуганный до смерти Ильяс опять

встал передо мной на колени, но па этот раз, чтобы просить у меня прощения. А самое главное — по моему настоянию Ильяс поклялся памятью отца, погибшего на войне, бросить пить, не сидеть на шее матери и работать в колхозе, как все нормальные, здоровые люди. А я за это обещала никому о моем похищении не рассказывать и, если он исправится, — помочь ему жениться на любимой девушке.

Как видите, первое свое обещание, разrazi меня, я нарушила — не удержалась, рассказала вам про эту историю. Но, клянусь вам, я обязательно выполню свое второе обещание. Дело только за Ильясом...

Как я воскрес

Я умер, но умер не паяву, а во сне, и поэтому видел, чувствовал все, что происходило со мной и вокруг меня.

Едва неумолимый ангел смерти Азраил вместе с последним вздохом отнял мою душу, меня тот час же раздели догола и убрали с кровати (покойнику, мол, незачем валяться в постели). Тело мое еще не остыло, когда его положили на голый пол (теперь, дескать, все равно никакая хворь к нему не пристапет). Угол, где я лежал, занавесили белой простыней (неприлично ведь взрослому мужчине, если он даже покойник, растянуться нагишом на виду у всех). Потом меня тщательно обмыли горячей водой и завернули в белый саван.

После этих и других процедур, предусмотренных обрядом (знаете, иногда живому легче попасть к начальнику-бюрократу, чем бед-

ному покойнику в свою яму), меня положили на погребальные носилки, накрыли черной тканью и быстро понесли на кладбище.

Впереди процессии шли мои сестра, тетки, двоюродные и троюродные сестры моей бабушки. Жена с детьми осталась дома (она от горя сама была едва живая).

Все мои родственницы, прыгая рядом с носилками, царапали себе лицо, хором кричали «ай-вай, изар!» и рвали на себе волосы. Выше всех прыгала, несмотря на свой преклонный возраст, и громче всех причитала моя теща: пусть, мол, люди знают, как тяжело переживает она смерть своего зятя. Глядя на нее, я невольно вспомнил с горечью, как она постоянно совала свой длинный нос в нашу личную жизнь, ела меня поедом. Теща не могла простить мне то, что я, молчаливый, застенчивый и невзрачный человек, совсем не из того сорта «доблестных» мужчин, которые «умеют жить», стал мужем ее дочери, достойной якобы лучшей доли.

Но я смотрел на все происходящее совершенно равнодушно, с полным безразличием, как полагается покойнику. Когда же я со своих носилок, мерно покачивающихся на плечах моих согласно шагающих друзей, бросил взгляд на родной город, освещенный лучами предзакатного солнца, меня охватила невыразимая тоска. Он, этот город, был бесконечно дорог мне и мил. Я здесь вырос, познал волнение первой любви. Город из года в год рос и хорошел на моих глазах. Многие здания в нем были выстроены при моем участии (при жизни я, помнится, был бригадиром строительной бригады), и я смотрел на них, как смот-

рит старый садовник на деревья, посаженные и выращенные его заботливыми руками.

Горькая, как полынь, жгучая, как молния, мысль о том, что я на веки вечные расстанусь со своим городом, детьми, женой и друзьями, что умираю в расцвете сил, перевернула мою душу, все во мне восстало. Мне пришлось призвать на помощь свою волю, чтобы взять себя в руки и подавить эти земные, суетные мысли, покориться своей участи, памятуя, что покойник должен вести себя тише воды, ниже травы. .

Похоронная процессия наконец вступила на кладбище. Носилки осторожно сняли с плеч и поставили у свежевырытой могилы, откуда несло сыростью и тленом. Кругом возвышались надгробные камни и безымянные холмики. Их вид навевал тягостные думы. Невольно пришли на память печальные строки величайшего из поэтов Омара Хайяма:

Друг, не тужи о том, чего уж нет.
Нам светит дня сегодняшнего свет.
Всем завтра предстоит нам путь безвестный
Вослед ушедшим за семь тысяч лет¹.

Я ждал: вот-вот снимут меня с носилок, положат в яму, и мир с голубым небом, горячим солнцем и мерцающими звездами навсегда захлопнется передо мной. Но в это время чей-то голос объявил об открытии траурного митинга. От имени коллектива и профсоюзной организации нашего строительно-монтажного управления дали слово бригадиру второй строительной бригады, с которой мы соревновались, Дада Бадаеву.

¹ Перевод В. Державина.

Боль моя немного смягчилась, когда я услышал знакомый сердечный голос. Я не сомневался в том, что этот седой человек с добрыми глазами скажет обо мне людям несколько задушевных слов.

Но какой же я получил удар, когда почтенный Дада Бадаев, деловито покашляв в кулачок, вытащил из кармана напечатанный на машинке листок и, запинаясь, начал читать, впиваясь близорукими глазами в текст:

— Това-а-рищи! За последние тоды у нас широким фронтом развернулось жилищно-бытовое строительство... Наш боевой девиз — строить быстро, дешево и высококачественно, с честью выполнять взятые обязательства, не допускать простоев и штурмовщины, спячки и горячки...

Дальше оратор сообщил о производственных показателях нашей строительной организации, доложил, где и что она строила за последние годы, упомянул нескольких передовиков производства, в том числе и меня. Обо мне сказал, что я, «ловко орудуя мастерком и свободной левой рукой, в одну смену перекрывал по две с лишним нормы...».

Старик и сам, видно, чувствовал, что говорит не совсем то. Он поминутно дергал с досадой головой, хмурился, кряхтел, но продолжал монотонно читать речь, видимо написанную для него каким-то административным сухарем. Заканчивая свое выступление, он на мгновение повернулся в мою сторону, но, боясь сбиться с текста и сказать лишнее, продолжал тем же монотонным голосом:

— Дорогой товарищ Хизгил! Пусть четырехэтажный сорокаквартирный дом со все-

ми коммунальными удобствами, который мы строили при твоём участии в тупике Шайтан-базар и который мы на днях сдаем в эксплуатацию, будет памятником тебе за твой ударный труд в нашем коллективе. Спи спокойно, дорогой товарищ!..

Я незаметно обвел взглядом лица столпившихся на кладбище людей. Нарушая приличествующую моменту скорбь, они — о ужас! — весело улыбались. А один большеголовый пучеглазый толстяк без всякого стеснения хихикал, будто его щекотали.

Глядя на все это, от досады и возмущения я чуть не перевернулся на своих носилках. «Ну зачем доброму Дада Бадаеву нужно было выступать с этим производственным отчетным докладом на моих похоронах? — сокрушался я. — Неужели в дни большой радости или большого горя у каждого из нас не найдется нескольких сердечных слов? Неужели я только и делал в жизни: «ловко орудовал мастерком и свободной левой рукой, в одну смену перекрывая по две нормы»? Разве я не был любящим мужем, нежным отцом, верным другом?.. Разве не было у меня радостей и горестей, мечтаний и стремлений?! Почему об этом не сказали ни слова?..

Толстяк, придерживая обеими руками свой тугой живот, точно боясь уронить его, уже не хихикал, а, запрокинув голову, без зазрения совести гоготал вовсю.

Вдруг, как это ни странно, и мне самому стало смешно. Сперва тихо, а потом все громче я начал хохотать. Тело мое содрогалось от смеха. Как я ни старался сдержать себя, ничего не выходило из этого. Я боялся, как

бы мои друзья, собравшиеся на кладбище, не дай бог, не подумали, что покойник смеется над ними.

От моего громкого смеха черное покрывало стало колыхаться. К изумлению всех, я вдруг ожил и, сбросив с себя мрачное покрывало, вскочил на ноги...

Я слышал, что смех излечивает от многих болезней. А на этот раз смех избавил меня от самой смерти.

Проснувшись в то утро, я очень обрадовался, что жив, но, вспомнив свои похороны, на всякий случай предупредил жену:

— Знаешь, моя дорогая, если я умру раньше тебя, то пусть у моей могилы не устраивают митинга.— Но потом, подумав, добавил: — Хотя, может, так даже лучше, вдруг я воскресну, как это было со мной во сне. Как говорится, чем черт не шутит!..

Телефон

И черт меня дернул поставить у себя дома телефон. Зачем я вбил себе в голову, что он мне необходим? Ведь обходился же я, слава богу, без него все эти годы. И все вроде было в порядке. А вот с тех пор как появился телефон, у меня одни неприятности, я вконец извелся, потерял покой, чуть не заработал удар.

А впрочем, так мне и надо. Говорили же добрые люди из конторы связи... Особенно один пожилой, круглый, с удивительно спокойным и приятным голосом, видимо самый главный:

— Зачем вам, дорогой писатель, телефон? Ваше дело писать, писать и еще раз писать, а не растрачивать свое драгоценное время попусту на телефонные хабары-разговоры.

Честное слово, говорил. А я: «Поставьте мне телефон — никаких гвоздей! Дом телефонизован, у моих соседей есть телефон, а почему мне нельзя?»

Мой довод сразил самого главного, и мне через несколько дней поставили телефон, такой модный, красивый. Одно лишь огорчало меня: телефон не подавал никаких признаков жизни. Через неделю я взял трубку (в квартире соседа, разумеется), позвонил самому главному и робко пожаловался.

— Телефон вам не патефон, чтобы он запел сразу... — ласково ушрекнул меня в ответ обладатель невозмутимого приятного голоса.

— Ведь уже целая неделя, как его поставили, а он молчит...

— Пусть молчит, хлеба он у вас не просит.

— Это верно, но...

— Простите, дорогой товарищ... У нас нет пока свободных номеров, — и положил трубку.

Спустя три месяца я опять позвонил самому главному (из квартиры соседа, конечно):

— Телефон молчит...

— Пусть молчит, хлеба он у вас не просит.

— Зачем тогда мне поставили телефон?

— Вы сами просили...

— Правильно, просил, но мне нужен телефон, который говорит, а не... В конце-то концов, фельетон, что ли, о вас написать?! — разозлился я.

С минуту в трубке слышалось напряженное сопение, потом многозначительное предупреждение:

— Как вам угодно! Но фельетон — это не телефон...

И разговор оборвался. На другой день у меня на столе вдруг затрещал телефон. Я с радостью взял трубку, предвкушая удовольствие от разговора по «собственному телефону» с другом, товарищем или просто знакомой женщиной.

— Алло! Алло! Как там самочувствие моей жены? — слышу вдруг из трубки.

— Что, что?!

— Я спрашиваю, как самочувствие моей жены? — настойчиво повторил мужской голос.

— Откуда я знаю! — вспыхнул я. — И какое я имею отношение к вашей жене или она ко мне?.. Вообще, почему вы звоните мне?

— Простите, это разве не родильный дом? Я не с дежурным врачом разговариваю? — извиняющимся голосом произнес незнакомец.

— Нет, квартира.

— Ах, тогда извините!

Я положил трубку, вновь взялся за перо, но через минуту опять раздался звонок, а в трубке — тот же голос:

— Скажите, пожалуйста, как самочувствие моей жены?

Я, не произнося ни слова, в сердцах бросил трубку. Немного погодя — опять звонок, опять он же, опять тот же вопрос. Я схватился за сердце и глубоко страдающим тоном взмолился:

— Дорогой мой, я же сказал вам, что это

не родильный дом, а кваргира, не туда звоните.

— А какой номер вашего телефона?

Я назвал. Но незнакомец словно взбесился, услышав номер.

— Как вам не стыдно?! Зачем врете?! — заорал он. — Я и вчера, и позавчера звонил по этому самому номеру, и мне все время отвечали, как положено... Вы просто нахал...

Я швырнул трубку, взял ручку, но уже не мог сосредоточиться. Мысли мои разлетелись в разные стороны, как потревоженные пчелы из улья, и теперь не желали возвращаться обратно. Дрожащими пальцами я вынул из открытой пачки сигарету, закурил, но тут мой телефон вновь заверещал. Я поднял трубку.

— Скажите, пожалуйста, кто у меня родился: мальчик или девочка? — спрашивал уже другой, ласковый, но тоже нетерпеливый голос. — Я целую неделю был на кутане, ничего не знаю...

Я понял, что опять звонят в родильный дом.

— А кого бы вы хотели? — усталым голосом спросил я.

— Мне все равно, но желательно, конечно, мальчика — у меня шесть дочерей.

— У вас мальчик, — произнес я и тут же положил трубку: по крайней мере, теперь не скоро позвонит.

Не прошло и пяти минут — о боже! — опять звонок.

— Вы не скажете: жена моя разрешилась? А то мы все дома волнуемся, сидим как на иголках. — Тот, кто спрашивал, назвал фамилию.

Я с полминуты молчал, размышляя: если сказать, что не родила, будут звонить опять и опять, поэтому ответил, что все благополучно, она чувствует себя хорошо, передает привет, целует и прочее.

— А кто у нас родился?

— А кого бы вы хотели?

— Я? Я хочу дочку, мечтаю!

— Ваша мечта сбылась — у вас дочь, поздравляю! — и сразу же повесил трубку.

Я взял с кровати подушку, накрыл ею телефон и больше к нему не подходил. Но самая большая неприятность, как оказалось, ждала меня впереди.

На следующий день, несмотря на то что у меня есть звонок, кто-то с такой яростью вдруг начал бить ногой в мою дверь, что она чуть было не сорвалась с петель. Я, удивленный и возмущенный, кинулся к двери, открыл ее. У порога, на лестничной клетке я увидел перед собой совершенно незнакомого мне мужчину с тремя свертками в руках. Два свертка он держал на правой руке, а один — на левой. Незнакомец был среднего роста и средних лет с суровым, обветренным лицом, черными усами, лихо закрученными кончиками вверх. Одет он был в пиджак, брюки галифе с широкими клиньями и блестящие хромовые сапоги. Голову незнакомца украшала серебристая каракулевая папаха с широким бархатным верхом.

— Я узнал, это вы, оказывается, вчера ответили мне по телефону, что у меня родился сын! — окинул он меня недобрый, почти враждебным взглядом.

Я сразу догадался, что это тот самый, кото-

рый говорил, что был целую неделю на ку-тане...

— Да, я...

— А почему вы мне наврали?! Ведь у меня родилась тройня — и все три девочки! Вот они у меня на руках.

— Пусть так, но при чем тут я? Разве я виноват?..

— Я, что ли, виноват, — резко оборвал он меня, — если вы сообщили мне неправду... Кто вас заставлял?

Я чувствовал свою вину и решил благоразумно промолчать. Но тот, крича и бранясь, ставил мне в вину такое, чего у меня и в мыслях не было.

— Вы хотели разыграть меня, посмеяться?! Где ваша совесть?! — Он вздохнул и, бережно поправив на руках свертки, смерил меня с ног до головы злым, ненавидящим взглядом. — Подшутив надо мной, вы тем самым нанесли оскорбление не только мне, как отцу, но и моим новорожденным девочкам, всему женскому полу...

— Слушайте, я совсем не имел такого намерения, — попытался я его успокоить, но он, все больше и больше распаляясь, продолжал осыпать меня упреками.

— У меня на руках три будущие горянки — три! — Он гордо вскинул голову. — Сейчас горянка — инженер, ученый, министр, о горянках книги пишут, а вы... Эх... жаль, очень жаль, что жена немного подкачала, — в голосе его явственно прозвучали нотки сожаления, — не родила сразу четверых — ей бы повесили на грудь звезду матери-героини назло таким отсталым типам и пустым насмешникам, как

вы... Вижу: телефон завели, мебель заграничная, а мозги с плесенью...

Пока отец новорожденных девочек поносил меня на чем свет стоит, я вдруг с ужасом заметил поднимающуюся по нашей лестнице незнакомую женщину с сердитым лицом. Мне пришло в голову, что это жена того самого мужчины, которого я поздравил с рождением дочери, а у них, наверно, родился сын... Я быстро захлопнул дверь, взволнованный и расстроенный подошел к телефону и позвонил в контору связи «самому главному».

— Слушайте, почему мне все время звонят и спрашивают родильный дом?

— А-а-а! Это очень просто: мы дали вам номер телефона, принадлежавший роддому. У них несколько телефонов. Ничего, обойдутся без одного. А вы не волнуйтесь.

— Как не волноваться, люди же не знают об этом, звонят без конца. У меня из-за этого большие неприятности!

— Да, вполне возможно,— согласился «самый главный»,— будут и еще звонить.

— До каких пор? — с тревогой спросил я его.

— Пока не издадут новую абонентную книжку и не укажут точно, у кого какой номер...

— А скоро ее издадут?

— Наверно, нет, судя по тому, что последняя абонентная книжка по нашему городу была издана пять лет назад.

Я в отчаянии схватился за голову, взмолился:

— Тогда дайте мне, ради бога, другой номер.

— Не можем!

Я вышел из себя, стал грозить, что перережу провод, выброшу телефон в мусорный ящик... На это «самый главный» ответил мне своим невозмутимым приятным голосом:

— Ка-а-ак вам угодно! Но писать о нас фельетон из-за того, что вам не установили телефон, у вас нет оснований. Всего наилучшего!..

Хабар и хинкал

Дедущка Азиз вышел из сакли, остановился посреди двора и огляделся вокруг. Землю уже окутывали теплые летние сумерки, в которых постепенно расплывались очертания высоких гор, окружающих его родной аул. На небе зажглись первые звезды, а во многих окнах засветились огоньки.

«Пора идти»,— подумал старик. И только сделал первый шаг, как навстречу ему из коровника вышла жена, долговязая старуха с большими натруженными руками и постным лицом. В правой руке она держала медную, блестящую в сумерках бадью с парным молоком. На минуту они остановились друг против друга: она — высокая, костистая, он — маленький, сухонький, чуть сутулый.

«Вот аллах послал мне женушку, то ли в наказание за мои грехи, то ли в награду за мою доброту,— мысленно усмехнулся Азиз, ко-со оглядывая жену и задумчиво поглаживая рукой коротко стриженную белоснежную бородку.— Как я на ней женился — ума не приложу?!»

Несмотря на свое врожденное добродушие, дедушка Азиз не выносил, когда жена вот так становилась перед ним и смотрела на него сверху вниз. Ему казалось, что это унижает его мужское достоинство.

Первой нарушила молчание жена.

— Ва, Азиз, куда опять идешь?

— Куда хочу, туда иду,— сердито проворчал он, передернув узкими худыми плечами, и, гордо подняв голову, прошел мимо жены.

Старуха не нашлась сразу, что сказать своеправному и чудаковатому мужу. После короткого молчания она крикнула ему вслед:

— Вот-вот дети должны подойти с поля, хинкал уже сварился, остался бы дома, натолок чесноку, поужинали бы вместе!..

Азиз, не останавливаясь, шел дальше, всем своим видом подчеркивая, что это его совершенно не касается. Вдруг, словно вспомнив что-то, он остановился, повернулся в ту сторону, где стояла жена с бадьей в руке.

— Эй, жена! — крикнул Азиз, чуть приподнимаясь на цыпочки. В его голосе сейчас звучали решимость и в то же время скрытая насмешка.— Хоть и говорят: «Хинкал лучше хабара», а по мне, добрый хабар лучше твоего худого хинкала... Я иду слушать хабар, а ты как-нибудь управляйся сама без меня...

Сказав это, дедушка Азиз ускорил шаг. Он мысленно выругал жену: из-за ее глупой болтовни как бы не опоздать в клуб, куда он спешил сейчас. Сегодня аульский радиоузел трижды оповестил джамаат о том, что приехал ученый-лектор из города читать лекцию для верующих: «О происхождении жизни и человека».

...Из восьмидесяти лет своей жизни шестьдесят пять дедушка Азиз ходил за отарой. Два года тому назад его чествовали всем аулом и с почетом проводили на заслуженный отдых. С тех пор не было ни одной лекции или вечера, на которых он бы не присутствовал.

Правда, говорят, что лектор, который приехал сегодня, очень молод, совсем юноша. Многим верующим, которые будут сейчас слушать его, он не только во внуки, но и в правнуки годится. Ну что же из этого? Есть пословица: «Ум не в возрасте, а в голове». Иной человек долго живет, а бестолку, только небо коптит. На другого посмотришь: молод-зелен, а умом всех превзошел...

Рассуждая так, старик не заметил, как очутился у дверей клуба. Азиз заглянул в зал. Он был полон народу — почти одни старики и старухи. На трибуне стоял бледнолицый юноша в ярком галстуке. Все скамейки были уже заняты, только в первом ряду, у самой трибуны, оставалось несколько мест. Азиз тихо прошел туда и чинно уселся.

— Прежде чем рассказать, как произошла жизнь на Земле и как появился человек, — уверенно начал юноша, — я коротко объясню вам, что такое жизнь...

Дедушка Азиз сразу заерзал на скамейке и приложил ладонь к уху: очень любопытно, что на этот счет собирается говорить лектор им, старикам.

— Жизнь есть способ существования белковых тел... Сущность жизненного процесса заключается в непрерывной и одновременной ассимиляции и диссимиляции живого... — тем же уверенным тоном продолжал гость.

Дедушка Азиз зажмурил глаза и энергично покрутил головой, точно желая встряхнуть свои старые мозги, затем, подавшись всем телом вперед, еще больше напряг слух. Но и после этого все, что говорил оратор, не доходило до его сознания, оставаясь, как говорится, книгой за семью печатями. А лектор, словно щеголяя своей эрудицией, сыпал в зал научные, совершенно непонятные Азизу и другим термины: агностицизм, атеизм, детерминизм, идеализм, дуализм, делая ссылки на Платона, Демокрита, Спинозу, Гегеля, Аристотеля, Фейербаха, Дарвина...

«Что за имена такие, как из торбы горох сыплет этот юноша? — искренне недоумевал дедушка Азиз. — Какие люди носят эти имена: мужчины или женщины, христиане или язычники, живые или мертвые? Может, у этого юноши жар — ему нездоровится?.. А в жару человек может сказать не только все, что взбредет на язык, но и выкинуть самую неожиданную штуку. Ведь был же с ним, Азизом, случай, когда он заболел двусторонним воспалением легких и в бреду принял собственную старуху, которая пыталась напоить его теплым молоком, за самого Азраила — ангела смерти. Он тогда недолго думая вскочил с постели, сорвал со стены кинжал и погнался за женой. Хорошо, что на ее крик вовремя подошли соседи, силой увели его в дом и уложили в постель, иначе не миновать бы греха...»

От этих размышлений отвлек дедушку Азиза богатырский храп, раздававшийся прямо за его затылком. Он невольно обернулся и увидел, что кузнец Саффар спит, сложив свои темные

здоровенные ручищи на животе и опустив кудлатую голову на широкую грудь, которая, как мехи в его кузнице, вздымалась и опускалась в такт храпу. Соседи его сидели тоже с безучастными скучающими лицами. Это окончательно вывело из терпения дедушку Азиза.

— Можно?! — громко произнес Азиз, обратившись к лектору.

— Нельзя! — громовым басом ответил кузнец, который сквозь сон принял этот вопрос в свой адрес. — Я еще твоего ишака не подковал!..

Но в тот же миг, проснувшись и медленно соображая, где он находится, кузнец огляделся, растерянно моргая сонными глазами. Этот неуместный возглас на некоторое время вызвал оживление и дружный хохот в зале. Посыпались шутки, остроты. Наконец, когда все стихло, лектор спросил Азиза:

— У вас вопрос ко мне? Но я еще не кончил. — Потом, немного подумав, добавил: — А впрочем, что вы хотели?

— Твоего здоровья, сынок, прежде всего, — любезно, со скрытой насмешкой и упреком сказал он, трогая бородку. — Ты уж, сынок, прости меня, старика, что немного помешал твоей лекции. Но ночь еще впереди, успеешь наговориться, — начал издалека старый Азиз. — Когда курице надо снести яйцо, ты хоть пугай ее тапанчой¹, она все равно дело свое сделает. Так и у меня. Если мне в голову пришла мысль, я ее обязательно должен высказать: такой у меня характер...

— Вы, дедушка, говорите по существу, —

¹ Тапанча — пистолет.

бросил с трибуны гость, жалея, что дал этому, как ему показалось, вздорному старику слово.

Но дедушка Азиз, пропустив мимо ушей его замечание, продолжал спокойно:

— Ты, наверное, сынок, знаешь горскую пословицу: «Конь узнается по ходу, человек — по слову». К чему я это веду? Вот ты сейчас сказал, жизнь есть вроде ассалам-вассалам¹. Услышав это, сынок, я подумал, что ты еще не знаешь настоящую жизнь, раз о ней так думаешь...

— Да я ничего подобного не говорил! — возразил удивленный лектор.

— Говорил, говорил! — с места подтвердили другие старики.

— Я говорил «ассимиляция и диссимиляция», а не «ассалам-вассалам», — посмеиваясь, ответил юноша.

— Это одно и то же! — уверенно выкрикнул кто-то с задней скамейки. — Недаром говорят: «Что Хужа-Али, что Али-Хужа — одно и то же!»

— Видишь? — торжествующе взглянул на лектора старый Азиз. — Не зря говорится: «Сорвалось с языка — досталось всему миру». Знаешь, сынок, неглупые люди выдумали пословицу: «Жизнь — что соленая вода, чем больше пьешь, тем больше жажда». Вот что такое жизнь, а не то, что ты сказал — ассалам-вассалам... На своем веку я видел много хорошего и много плохого. Теперь я стар. Как бы сердцу не молодиться, а телу не обновиться.

¹ Ассалам-вассалам — соответствует русскому приветствию «Здравствуйтесь» и ответу на него: «Здравствуйтесь».

А хочется, валлах, как хочется, чтобы оно обновилось. Жизнь-то нынче совсем не та, что была при моей молодости. Где ты сейчас увидишь, чтобы дети горцев с голыми пупами плялись по аулу, а взрослые мужчины из-за куска хлеба скитались по чужим краям, сахаром лакомились только на свадьбах?.. Ты бы лучше сказал, как сделать жизнь еще краше, чтобы человек жил долго и бодро. Вот до тебя здесь читал лекцию доктор, дай аллах ему здоровья. Много хороших слов говорил он, а хорошее слово — пища души. Почему вредно пить водку, особенно молодому? Молодой и без вина пьян, а напьется, так совсем голову потеряет, натворит чего-нибудь. Потому-то и говорили блаженной памяти наши деды-прадеды: «Если осел опасен сзади, бык спереди, то пьяный человек опасен со всех сторон»...

— Хватит, дедушка! — страдальчески сморщив лицо, перебил лектор Азиза. — То, что вы говорите, к теме моей лекции не относится. Садитесь и не мешайте мне, пожалуйста!

Дедушка Азиз хотел еще дать ему несколько мудрых советов, но, с досадой махнув рукой, сел на место. Он решил до конца лекции не проронить ни слова, какой бы вздор ни нес юноша. Но не прошло и четверти часа, как старик, не утерпев, вопреки своему решению, опять вступил в полемику с приезжим лектором.

Когда лектор, коротко «ознакомив» присутствующих с эволюционным учением Дарвина о происхождении видов, тут же, без всякого перехода заявил, что наши далекие предки произошли не от прародителей человеческого рода Адама и Евы, как утверждается в Биб-

лии и Коране, а... от обезьяны,— он поразил стариков, что называется, в самое сердце.

— Астапирулла!..¹ — возмутился старый Азиз.— Как тут не вспомнить поговорку: «Если за день не услышишь какую-нибудь глупость, или оглохнешь, или ослепнешь».

И он, прервав лектора, припомнил о том, как лет пятьдесят назад хозяин, на которого он батрачил, назвал его обезьяной. Он тогда, рассердившись, выбил ему глаз. Потом целый год его таскали по участкам и судам.

Какая-то старуха, сидевшая рядом с кузнецом, сочла, видно, слова лектора об обезьяне за осквернение священной памяти своих усопших предков и в разгар речи Азиза вскочила с места. Вытянув, как рассерженный гусь, жилистую шею, она прошамкала беззубым ртом:

— Шам ты обежяна, шын обежяны, шай-тан проклятый! Каркаешь тут што попало!..

И продолжая ворчать и браниться, демонстративно покинула зал.

После лекции дедушка Азиз поспешил домой. Все уже спали, кроме старухи. Она терпеливо ждала его возвращения. Увидев жену, он приветливо и ласково улыбнулся ей. «А все-таки, что ни говори, ближе и роднее жены нет на свете человека»,— подумал он про себя.

— Валлах, жена, зря я на этот раз не послушался тебя,— с сожалением проговорил он и, строго нахмутив седые брови, добавил: — Чем такой хабар, какой мы только что слышали, твой хинкал в тысячу раз лучше. Подавай его сюда. Бисмиллах!..²

¹ Астапирулла — «Не приведи бог».

² Бисмиллах — «Во имя бога».

— Э-э-эх, бабка, бабка, будь ты неладна!.. А еще говорят: «Ува-ж-жа-ай, мол, их, стариков, почита-а-ай, склопя-яй свою голову перед ними!..»

— А что опа сделала тебе плохого, эта бабка?

— А что сделала?! Хуже, чем разбойник с большой дороги: без ножа зарезала, без ружья убила! Вот что опа сделала!..

Понимаете, наша контора «Заготрогатскот», где я работаю заведующим ветеринарной службой, построила на берегу моря красивый десятиквартирный дом со всеми удобствами. И в каждой квартире по два балкона: один выходит на море, другой — в прибрежный парк, где по вечерам играет оркестр. Словом, не дом, а мечта! Скоро его должны заселить. Но как бы я ни мечтал, попасть в этот дом у меня было столько же шансов, сколько у грешника войти в рай. У меня есть квартира из двух комнат, правда, без удобств. Да и семья у меня — я да жена. Детей у нас, слава богу, нет. Живем для себя. Положа руку на сердце, скажу, зачем современному человеку дети? Они только мешают ему жить в свое удовольствие... Но, как подумаю, что не я, а кто-то другой будет жить в этом доме, — душа моя покоя лишается. Если уж на то пошло, что мне до тех людей, которые вовсе не имеют квартиры. Всякая рука к себе загибается. Как говорится: «И пророк за свою голову молится».

Я долго думал, мучился: что бы такое предпринять, чтобы пролезть в этот дом? Но ничего путного так и не придумал. Как-никак

хоть и пазывается папиа контора «Заготрогатскот», но руководят ею не быки и коровы, а люди, цовимающие, что к чему. Я готов был уже взвыть от отчаяния, когда жена неожиданно подсказала мне самую верцую мысль:

— Слушай, у тебя, кажется, в селе живет столетняя бабка?..

— Правда, живет! — задыхаясь от радости, бросился я обнимать жену. — Вот это идея!

Честное слово, не вру: как только я вспомнил о своей бабке, меня вдруг охватило такое волнение, такая нежность и тоска, что вижу: без нее я, как рыба без воды, и часу прожить не смогу. Не смогу — и все! Вот что зпачит родная кровь! Я чуть не заплакал от жалости, представив себе горькую судьбу моей бабушки. Ведь она, бедняга, как круглая сирота, одна-одинешенька, ни мужа, ни сыновей, ни дочерей у нее нету, один я. И живет моя бабушка, можно сказать, у чужих — сестры, тогда как у нее есть прямой потомок — я!

Недолго думая, я в тот же день помчался в село, чтобы привезти ее в город жить с нами в новой квартире. Пусть, думаю, теперь руководители пашей конторы «Заготрогатскот» посмеют не дать мне квартиру в новом доме. Таких старожиллов Земли, как моя столетняя бабушка, учеые на учет берут, посятся с ними, как курица с яйцом. Они словно исторические памятники далекого прошлого находятся под особой охраной государства. Кроме того, бабушка — мать погибшего на войне партизана, то есть моего родного дяди.

Как бы там ни было, я был уверен: если бабуля будет со мной, ордер на новую четырехкомнатную квартиру с балконами на море

и в парк, где по вечерам весело гремит оркестр, у меня в кармане. Но теперь меня беспокоило другое: жива ли бабушка? Не скрою: я давно не видел ее и ничего о ней не слышал. Среди городской суеты и будничных забот я, грешным делом, забывал о ней, не справлялся о ее здоровье.

Но опасение, к счастью, оказалось напрасным. К своей песказанной радости, я застал бабушку живой и здоровой. Да и она, моя бедная старушка, была рада-радехонька встрече со своим едипственным влуком.

За те девять лет, что я ее не видел, представьте себе, она нисколько не изменилась. Такая же маленькая, сухонькая и шустрая. И такой же у нее кальяп с аршинным чубуком, который она редко выпускает из рта. Несмотря на свой древний возраст, она сохраняла острое зрение и хороший слух. Едипственная перемена, которую я в ней заметил, это то, что бабушка, как мне показалось, стала еще меньше ростом.

Сначала она и слышать не хотела о переезде в город, чем меня, сами можете представить, папугала здорово. Потом, когда я ласково обнял бабуся за плечи и шуточно пригрозил, что если она добровольно не захочет поехать со мной, то я ее непременно похищу, как в свое время поступил мой дед, она расчувствовалась, прослезилась и в конце концов согласилась.

На другой день я на машине привез ее в город. Мы с женой сразу начали кружиться вокруг бабки, как мотыльки вокруг свечи, от которой исходит тепло и свет. Мы из кожи лезли, чтобы создать праздничную атмосферу

в доме, угодить ей во всем. Чтобы сделать приятное, я даже в тот вечер повел ее в театр. Купил два билета в первом ряду, чтобы ей хорошо было видно и слышно. Но сейчас каюсь, ох как каюсь, наверно, всю жизнь буду себе локти кусать, что сделал такую глупость. Кто знал, что бабка в театре на виду у всех вдруг выкинет такой номер...

В тот вечер в театре показывали пьесу о том, как советские партизаны в годы Великой Отечественной войны боролись в тылу врага. Бабушка, задрав худой морщиистый подбородок, чинно сидела на своем месте и внимательно следила за ходом спектакля. Все вроде было хорошо, пока два вооруженных фашиста не втащили в свой штаб пленного партизана с забинтованной головой и связанными за спиной руками. Сначала бабушка только беспокойно ерзала на стуле и вслух ругала фашистов на чем свет стоит. Но когда немецкий офицер, разъяренный упорным молчанием пленного, приставил к его груди пистолет, ее будто ураганом с места сорвало. В одно мгновение на сцену полетела резиновая калоша, облепленная грязью, и угодила прямо в гладко выбритую физиономию фашиста.

— Не смей, душман¹ проклятый!.. — топая в ярости ногами, срывающимся голосом крикнула на весь зал бабушка. — Иначе я тебя, свинью поганую!.. — И разойдясь вовсю, она дрожащей рукой потянулась за второй калошей. Вид у моей бабки в тот момент был такой свирепый, что, оказавшись в эту самую минуту у нее под рукой вместо калоши бомба, она,

¹ Душман — враг.

мне кажется, не колеблясь, бросила бы ее на сцену...

Все это произошло так быстро и неожиданно, что я не успел вовремя удержать разбушевавшуюся старуху. Занавес немедленно опустился. Под недовольные возгласы одних, требовавших «наказать хулигана и дебошира», веселый смех и пронзительные свисты других я, не мешкая, схватил бабушку за руку и силой потащил к выходу.

Мне, как человеку культурному и порядочному, было очень стыдно за бабкину дикую, скандальную выходку. Поэтому, как только мы вышли из театра, я дал волю гневу, припаялся безжалостно распекать ее, стыдить. Что делать! Хоть и старый человек, но надо воспитывать, выколачивать, как говорится, дурь из головы. Она слушала меня, низко опустив голову, всю дорогу угрюмо молчала и тихо всхлипывала, краем платка украдкой вытирая слезы: видно, мои слова пробрали ее как следует.

На следующий день я сочинил большое заявление на имя администрации и профсоюзной организации конторы «Заготрогатскот». Ссылаясь на то, что со мной живет столетняя бабушка, мать партизана, замученного фашистами, я требовал, чтобы мне в первую очередь предоставили четырехкомнатную секцию в новом доме.

Вернулся я в тот день как со свадьбы, в самом веселом настроении. Я уже представлял себе нашу жизнь с женой в новой квартире, видел, как мы с ней под звуки оркестра, играющего в парке, обнявшись и прильнув щекой к щеке, танцуем на нашем балконе. Но, придя

домой, я застал жену очень расстроенной, с красными воспаленными глазами. Стекая с накрашенных ресниц, по щекам ее катились черные слезы. Я сразу понял, что жена плачет из-за бабки. Ее пребывание у нас было ей неприятно и тягостно, доставляло лишние хлопоты. А я, как порядочный человек и настоящий муж, жалею свою жену. И это естественно. Как женщина она мне нравится, кроме того, жена моя приносит домой денег больше, чем я: она заведует дамским салоном в большой парикмахерской.

Я, конечно, сделал вид, что все это пустяки. Ласково улыбнувшись ей, и тихо, чтобы бабушка в другой комнате не слышала нас (я не сомневался в том, что она там или дремлет, как курица на пасеке, или сосет свой кальяп, наполняя комнату табачным дымом), я прошептал на ушко:

— Моя дорогая, потерпи еще немножечко, вселимся в новую квартиру, а потом, а потом мы вежливо отправим бабушку в село.

— Да она уже уехала! — с внезапно прервавшимся рыданием проговорила жена.

— Как уехала?! — Мне показалось, что почва ускользает из-под ног и я качусь в пропасть. — И ты не смогла удержать ее?!

Жена, глотая черные слезы (о, как они меня сейчас раздражали!), с убитым видом покачала головой.

— Нет, не смогла. Я ее и так, и этак просила, умоляла, чтобы она немного осталась здесь, пожила у нас, иначе нам не видать четырехкомнатной квартиры в новом доме...

— А она что? — перебил я жену в нетерпении.

— Валлах, говорит, раз такое дело, я тем более, говорит, не останусь у вас ни одного дня. Мне, говорит, у вас не нравится, и очень жалею, говорит, что приехала... Если, говорит, вам с мужем обязательно хочется четырехкомнатную квартиру, приезжайте жить к нам в село. Там его отцовский дом пустует. А хороший сын, говорит, не должен дать погаснуть огню в отцовском очаге.

Одним словом, наша надежда получить новую квартиру с балконами на море и в парк, где по вечерам играет музыка, лопнула, как мыльный пузырь. И все из-за глупого каприза моей сумасбродной бабки. А еще говорят: «Уваж-ж-жай, мол, их, стариков! Почита-а-ай!..»

Встречи у родника

Омар, прижимая к бокам пустые ведра и боязливо озираясь, осторожно спускался по узкой тропинке в ущелье, где из-под черной высокой скалы с веселым журчаньем пробивался родник.

Была ночь. На темно-синем небе мерцали крупные звезды. Полная луна заливала мягким сиянием притихшую землю. При свете луны прозрачная вода в роднике отливала серебром, а на дне его, точно мелкие монеты, блестели белые обкатанные камешки. Недалеко от родника росли сплошные зеленые кусты, оттуда слышалось громкое шелканье одинокого соловья. Наверху, за ущельем, на фоне высокой лесистой горы отчетливо виднелись темные очертания саклей с редко освещенными окнами.

Подойдя к роднику, Омар бесшумно поставил ведра на землю. Еще раз посмотрев по сторонам и убедившись, что ему удалось добраться сюда никем не замеченным, он облегченно вздохнул, улыбнулся. Но, вспомнив, как жена только что почти со скандалом выпроводила его за водой, Омар поморщился. Он медленно опустился на замшелый камень у источника, задумался, отчетливо представляя картину сегодняшней ссоры с женой. Еще утром Сакина, уходя в школу, сказала:

— Омар-джан, я приду поздно, сходи, пожалуйста, за водой. Прошу тебя!..

Омар потушил глаза и сердито буркнул:

— Ладно, уже слышал...

Но, чувствуя на себе осуждающий взгляд жены, он поднял на нее глаза и мученически улыбнулся.

— Сказал же пойду, чего пристала?!

Проводив жену, Омар взял ведра и по узкой лестнице спустился во двор. Он открыл калитку и вышел за ворота, но тотчас же вбежал обратно, гроыхая ведрами: невдалеке в высокой, лихо заломленной папахе стоял сосед — председатель сельского совета Мехти Бабаев и будто нарочно смотрел в его сторону, с важной медлительностью покручивая пышные седеющие усы.

Омар быстро прикрыл калитку, крепко прижал ее спиной. Сердце его заколотилось, на лбу выступила испарина. Он чувствовал себя как человек, которому удалось избежать большой опасности. Отдышавшись, Омар опять осторожно приотворил калитку, но остановился в нерешительности. Ему представилось сейчас, как он идет с пустыми ведрами по улицам

аула, а люди, показывая на него, отпускают вслед язвительные шутки:

— Ему остается теперь вместо папахи надеть на голову платок и доить корову...

— Они с женой, видать, поменялись ролями!..

— Всегда так: дай жене волю, заведет молодца в неволю.

В душе Омара поднялась обида на жену. Пора бы ей привыкнуть к аульским обычаям. Уже полтора года, как она приехала из города в аул, девять месяцев назад они поженились, а она все еще не перестает удивляться и возмущаться: как может, мол, мужчина считать для себя позором нести пошу вместо матери-старухи, сходить раз-другой к роднику за водой вместо жены?..

Это все, конечно, так. Но попробуй пойти наперекор обычаю — не только мужчины, но и женщины будут смеяться над тобой, мужчиной считать перестанут.

Правда, до последнего времени жена только сокрушалась, но ни разу не принуждала мужа выполнять «женскую работу», потому что его мать была дома. Она, по обыкновению, вставала раньше всех, разжигала огонь в очаге, доила корову, приносила воду. Недели две назад старуха уехала в соседний аул, чтобы присмотреть за больной сестрой. Теперь вся тяжесть домашней работы легла на плечи жены, которая к тому же была беременна. Ей было тяжело после дня, проведенного в школе, еще хлопотать по хозяйству, а потом до поздней ночи проверять тетради и готовиться к занятиям. Омар все это понимал, но по-прежнему стыдился помогать жене.

Вечером Сакина, вернувшись домой и увидев пустые ведра, пришла в отчаяние. А муж, как ни в чем не бывало, сидел за столом и читал книгу.

— Омар, ты так и не сходил по воду?! У нас же нет ни капли воды, даже руки помыть нечем. Какой же ты?! — голос ее дрогнул.

Сакина грузно подошла к столу и с сердцем швырнула на него кипу тетрадей, которую держала под мышкой. Тяжело опустившись на стул, она охватила голову руками и беззвучно плакала.

Омар, нахмутив брови, молча взглянул на жену. Резким движением он отодвинул от себя настольную лампу, сердито захлопнул книгу, встал и возбужденно зашагал по комнате.

Когда Сакина подняла голову и взгляд ее упал на обложку книги, которую только что читал муж, она еще больше возмутилась:

— Читаешь «Горянку» Расула Гамзатова, а ведешь себя, как столетний дед, напичканный предрассудками! А еще комсомолец, зоотехник, интеллигент вроде!..

На минуту в комнате воцарилась тягостная тишина. Потом вдруг Сакина с выражением злой решимости на лице вскочила с места и, схватив ведра, подошла к мужу.

— Если ты сейчас же не пойдешь за водой, я уйду из этого дома — и навсегда! — с гневом произнесла она.

Угроза подействовала. Омар взял ведра и вышел из комнаты. На небе ярко светила луна, поэтому он не решился выйти за калитку: вдруг кто-нибудь его увидит? Особенно боялся он встречи со своим соседом, председа-

телом сельсовета Мехти Бабаевым, который, наверно, еще утром заметил его с пустыми ведрами... И он решил подождать, пока луна не скроется за тучами. Но луна, будто угадав его намерения, казалось, нарочно заливала потоками света плоские крыши саклей, кривые узкие улицы, дорогу, ведущую в ущелье к роднику.

Наконец, к большой радости Омара, со стороны ближней горы, над которой громоздились тучи, отделилась черная, лохматая, точно распростертая бурка, большая туча. Она, погоняемая попутным ветром, поплыла прямо навстречу луне. Закрыв ее, туча отбросила на землю густую тень, и все потонуло во мраке. Омар мигом выскочил на улицу, держась ближе к заборам и стенам, во весь дух побежал к роднику. Но когда он подошел к ущелью, луна вновь выглянула из-за тучи и озарила его серебристым светом.

Набрав воды, Омар собрался было уходить, но, заметив вдали приближающуюся фигуру, замер на месте. От неожиданности он растерялся и не знал, что делать. Потом, спохватившись, оставил ведра и кинулся в кусты. Соловей, который пел в кустах, сразу умолк.

В спускавшемся к роднику человеке Омар узнал секретаря сельсовета Эмина Гайдарова, худого мужчину лет сорока с узкими плечами, длинной журавлиной шеей и острым кадыком. В левой руке он держал ведро, а в правой — медный кувшин с узким изогнутым горлышком. Он шел спокойно, видимо, в полной уверенности, что в этот поздний час его никто не увидит. Но, подойдя к роднику и наткнувшись на ведра с водой, Эмин резко остановился и

украдкой посмотрел по сторонам. Когда до его настороженного слуха донесся неясный шорох, он мигом опустил на корточки. Загородившись кувшином и ведром, затаив дыхание, Эмин уставился напряженным взглядом в сторону подозрительного куста.

Прошло несколько томительных минут. Кто-то хихикнул, повергая Эмина в трепет. Омар понял, что так они могут прождать до утра, хоронясь друг от друга, встал во весь рост и, продираясь через кусты, бодро крикнул Эмину:

— О, салам алейкум, дорогой секретарь сельсовета, какая приятная встреча, а?!

Эмин, вобрав голову в плечи, испуганно прошептал что-то похожее на молитву или заклинание.

Подойдя к Гайдарову, Омар дружески похлопал его по спине. Тот медленно поднялся, посмотрел на широко и, как показалось ему, нахально улыбающегося Омара растерянно и враждебно.

— Ну скажи, Эмин, только честно, — с трудом сдерживая разбивавший его смех, сказал Омар, — давно ты ходишь по почтам вот так, точно на темный промысел или на тайное свидание?

— Замолчи, ради аллаха! — прошептал Гайдаров, с опаской оглядываясь вокруг. — Чего ты хохочешь, как сумасшедший? Ведь люди могут услышать нас, не все еще спят в ауле.

— Нет, ты все же скажи: давно? — не унимался Омар, подшучивая над Эмином.

— Вай аллах!.. — шумно вздохнул Эмин. — Ты бы лучше помолчал. Первым же сюда при-

шел ты, а не я,— и, решив отомстить ему, добавил с язвительной усмешкой: — Да еще прятался как заяц в кустах...

Омар притворился обиженным.

— Ты что, Эмин, на самом деле шуток не понимаешь? — сказал он с укором и тут же дружелюбно добавил: — Ну ладно, хватит сердиться да расстраиваться, давай посидим, покурим.— После ссоры с женой Омар не торопился домой.

Несколько минут они сидели молча, дымя сигаретами, прислушиваясь к петушину перепеву и тявкальню собак, доносившимся из аула. Затем Эмин схватил кувшин и хотел было погрузить его в воду, но Омар остановил его, тронув за плечо.

— Омар, смотри, еще кто-то из нашего брата направляется сюда,— чуть слышно произнес он, показывая в сторону аула.

Оба они напряженно и с любопытством стали следить за приближающимся человеком.

— Вах! — с радостным удивлением воскликнул Эмин.— Это же мой начальник, твой сосед, почтенный Мехти Бабаев. Я его по папахе узнаю.

Председатель сельсовета шел медленно, поминутно оглядываясь по сторонам. Заметив людей у родника, он сперва застыл на месте, а потом, быстро повернув назад, бросился бежать, громяхая пустыми ведрами. Эмин пустился за ним вдогонку. Но Мехти, несмотря на то что был человеком полным, к тому же в летах, продолжал бежать, как медведь, преследуемый роем разозленных пчел.

— Пстой, Мехти, пстой!.. Чего ты бежишь, как лань от охотника? — наконец до-

гнав его, сдавленным голосом произнес Эмин. — Это мы, мы...

Председатель остановился, с грохотом выронив ведра, медленно и неуверенно повернулся на голос. Но, успокоенный тем, что встретил своего подчиненного, а не кого-нибудь другого из аульчан, он облегченно вздохнул, снял с головы папаху и вытер ею взмокший лоб.

— Ух, жарко! — проговорил он, шумно отдуваясь, и тут же принялся пегромко окликать кого-то.

— Эй, выходи, не бойся! Тут свои!..

Из-за толстого серебристого ствола раскидистой чинары выпрыгнула долговязая фигура Селима, секретаря партийной организации колхоза.

Омар встретил их, можно сказать, с восторгом.

— О, добро пожаловать, дорогие друзья! — с притворным энтузиазмом произнес он, указывая рукой в сторону родника, и тут же добавил, не то в шутку, не то всерьез: — Только чур! Давайте отныне для общего удобства ходить по воду днем, а не ночью!

— Да в своем ли ты уме, Омар! — испуганно воскликнул председатель, который еще не совсем справился с волнением.

— А почему бы и нет, — поддержал Омара Селим. — Видишь, сама жизнь заставляет нас идти наперекор этому обычаю.

— Не сама жизнь, дорогой парторг, а наши с вами жены заставляют, будь они пеладны, — запальчиво произнес Эмин. — Больно они хвост задрали, надо бы им его немного прижать.

— Как бы нам с тобой за это самое дело

хвосты не прижали,— заметил Мехти Бабаев, быть может, вспомнив в эту минуту, как же-па, не считаясь ни с его возрастом, ни с высоким положением в ауле, бесцеремонно вытолкала его из дому. Поэтому он, безнадежно махнув рукой, добавил: — Лучше не связываться!..

Пока председатель сельсовета, его секретарь и парторг колхоза не спеша набирали воду, чинно разговаривая, Омар стоял и смотрел на ночное небо, густо усеянное мигающими звездами, на ясную луну. Все, что произошло с ними, четверьмя мужчинами, здесь, у родника, показалось ему вдруг глупым и смешным. Он невольно засмеялся, вспомнив свои недавние сомнения и страхи, да и не только свои.

Как бы в ответ на веселое настроение Омара в кустах вновь раздалась звонкая соловьиная трель. С улыбкой оглядев Эмина, Мехти и Селима, молча ждавших его с полными ведрами и кувшинами, Омар, указывая рукой на звездное небо, воскликнул громко и радостно:

— Не правда ли, друзья, чудесная ночь?!

Мастер красоты

— Знаете, каждый хочет быть красивым,— поднося бритву к моему намыленному горлу, убежденно произнес парикмахер.

У него мощная круглая бритая голова, отливающая синевой, петоропливые, но уверенные движения. На широком энергичном лице торчат, словно пучки прутьев, длинные прямые усы. Когда он говорит, его левый ус то и

дело шевелится и вздрагивает, а большие темно-карие глаза смотрят на клиента с какой-то затаенной печалью.

— Так оно и должно быть,— не отрываясь от дела, продолжает добровольно просвещать меня усда¹,— на то он и есть человек, чтобы ценить и любить красоту. Это, извините за выражение, козлу или верблюду все равно, как они выглядят. Вот взять, к примеру, того же самого верблюда. От того, что у него шея кривая или горб торчит на спине, он, думаете, хоть сколько-нибудь чувствует себя несчастным? Наоборот, если вы обратили внимание, верблюд держится высокомерно, как чванливый лорд или высокородный бек. А вот у моей супруги, к слову сказать,— в голосе парикмахера прозвучали печальные нотки,— на мою беду, на кончике носа выскочила маленькая бородавка. Теперь из-за нее, проклятой, нет никакого спокойствия: жена вечно хнычет, ворчит, по пустякам раздражается, хоть убегай из дому.

На минуту парикмахер перестал двигать бритвой, задумчиво опустил глаза и шумно вздохнул, а на лицо его легла тень. Должно быть, ему в эту минуту представлялся женин нос... Я от души пожалел его.

— Не нужна красота еще знаете кому? — продолжал философствовать парикмахер.— Не про нас с вами будь сказано, она, красота, не нужна еще покойнику, как не нужны ему освещение, отопление и прочие, так сказать, коммунальные услуги.

Меня стал разбирать смех.

¹ У с д а — мастер.

— Смеяться, граждане, во время бритья нельзя, категорически говорю!.. — нахмурив лохматые брови, строго произнес он, глядя на меня с таким выражением, с каким смотрят старшие на недозволенные шалости малышей. — Пока вы сидите у меня в кресле, я отвечаю за вашу жизнь, как хирург за жизнь своего пациента... Кроме того, граждане, — мастер укоризненно покачал бритой круглой головой, — ничего, по-моему, смешного нет в том, что я сейчас вам рассказываю.

Справа от нас на широком подоконнике стояла маленькая зеленая елка с разноцветными игрушками. В ярком свете электрических ламп они таинственно блестели, вспыхивая всеми цветами радуги. За окном в зимних сумерках редкими пушистыми хлопьями лениво падал снег, спешили нагруженные покупками прохожие — был канун Нового года.

Когда я перестал смеяться, парикмахер, как ни в чем не бывало, заговорил вновь:

— Вот к нам ходят клиенты: мужчины, женщины, молодые, пожилые. А почему они ходят? Чтобы выглядеть красивыми. А как же иначе. Вот попробуй, к примеру, вас не брить, не стричь три-четыре месяца, родная жена и та, извините, испугается. Правильно я говорю?

Парикмахер отодвинулся на полшага и в ожидании ответа вопросительно уставился на меня. В знак согласия я неопределенно хмыкнул и слегка кивнул головой.

— Но красоту тоже надо наводить умечки, — добавил усда с явной гордостью за свою профессию. — Сделать человеку хорошую прическу, подстричь волосы, это вам, извините,

не траву в поле косить. Вот расскажу вам про такой случай. Не так давно я работал в дамском салоне. Приходит ко мне одна пожилая очень полная дама и просит, чтобы я сделал ей прическу «офицеры, за мной», а на лбу кокетливые завитушки. Я внимательно посмотрел на свою клиентку, такая прическа не для ее возраста и комплекции. Мне, конечно, ничего бы не стоило взять да исполнить ее желание. Но брать деньги с человека и потом еще уродовать его, я, как честный гражданин и член профсоюза коммунальных работников, не могу и не имею права. Это, знаете,— брак, хуже, чем брак на производстве. «Мадам,— говорю ей,— галантно приложив руку к сердцу,— такая прическа, которую вы хотите, пойдет только молодежьким, совсем молоденьким...» Но дама не дала мне договорить, с жаром схватила меня за руку и говорит: «Вот, вот, сделайте меня молодежкой...»

Парикмахер вздохнул и грустно улыбнулся.

— Не без труда, гражданин, я убедил ее, что такая прическа будет не к лицу, и предложил ей другую, подходящую для ее возраста. Опа, правда, не очень охотно, по все же согласилась.

Парикмахер прервал свою речь и, слегка прихрамывая, исчез за полотняной перегородкой. Через минуту он выпырнул оттуда с мокрой горячей салфеткой, от которой валил густой пар, и сделал мне компресс. Покончив с этой процедурой, он, вооружившись ножницами и металлическим гребешком, начал подправлять мои усы.

— Вы, наверно, слушаете меня, а про себя думаете: зачем, мол, я вам все это рассказы-

ваю? — словно угадав мои мысли, многозначительно улыбнулся уса, возвращаясь к теме своего разговора. — Я это говорю и тому, что среди нас, парикмахеров, тоже есть свои, так сказать, «маяки», которые с любовью, творчески подходят к делу. Но почему-то нашего брата никто надлежащим образом не ценит.

— Как не ценит? — спросил я. — Разве вам плохо платят за ваш труд?

Парикмахер поморщился, словно проглотил кислую алычу.

— Да разве все дело только в оплате, дорогой товарищ? — с укоризной произнес он. — Есть поговорка: «Не нужен мне твой плов, нужно мне твое внимание». Доброе слово иногда ценнее дорогой монеты... А вот я сейчас задам вам один вопрос: вам известно, чтобы кто-нибудь из наших писателей сделал героем своего рассказа, поэмы или романа нашего брата парикмахера? Нет. А ведь никто из них без наших услуг не обходится. Разве не обидно?..

Рассказчик на минуту умолк и, продолжая стрекотать ножницами перед своим носом, подправлял усы. Потом тем же грустным тоном продолжил:

— А вот я знаю одного писателя, он земляком мне приходится, мы из одного села. Он часто пишет о колхозниках, а сам-то в сельском хозяйстве разбирается так же, как я в китайской грамоте.

— Не может быть, — попытался я заступиться за незнакомого мне писателя.

— Ну вы послушайте дальше, — дергая левым усом, проговорил уса. — Этот самый писа-

тель, мой земляк, о котором я вам говорю, почти ребенком уехал из села и все время живет в каком-то большом городе. Ездит он в свое село раз в пять-шесть лет, и то на свадьбу или поминки. Мне кажется, что он сейчас с трудом отличает камыш от кукурузы, осоку от риса. А ведь он, надо полагать, по меньшей мере раз в неделю ходит к парикмахеру, но писать о нем ничего не пишет. Я уже давно его не видел, но попадись он мне под руку, я ему такое устрою...— в голосе парикмахера прозвучали мстительные нотки, и он злорадно ухмыльнулся.

Я беспокойно заерзал в кресле.

— А что бы вы ему сделали?

— То же самое, что сделал цирюльник с Моллой Насретдином,— с мстительной улыбкой на лице произнес он.

Я как-то слышал эту историю. Говорят, однажды Молла Насретдин пришел брить голову. Бритва у цирюльника оказалась очень тупой. Едва он проложил первую «борозду» на голове Моллы, тот весь скорчился от боли, на глазах выступили слезы. «Сколько у вас братьев, Молла?»— желая развлечь разговором своего клиента, вежливо осведомился цирюльник. «Нас было пятеро, дорогой усда,— всхлипнул Молла,— но с той роковой минуты, как моя несчастная голова попала под твою бритву, считай, что осталось четверо...»

Я почему-то стал внимательнее разглядывать в зеркале лицо своего собеседника и вдруг... похолодел от ужаса — я узнал его. Это был мой земляк.

Салфетка, обернутая вокруг шеи, стала дупить меня, словно петля. Я резким движени-

ем сорвал ее, вскочил с кресла и поспешно кинулся к вешалке. Схватив пальто и шляпу, я, от волнения едва не сбив с ног ошеломленного парикмахера, выскочил на улицу...

А почью мне снились кошмары. Усатый парикмахер, размахивая тупой бритвой и прихрамывая, долго преследовал меня по открытой степи, залитой горячим солнцем. Вдруг, к своей несказанной радости, я увидел перед собой кукурузу, густую, словно дремучий лес. Принадлежала она колхозу, который не раз ругали в газете за получение низкого урожая: видно, критика пошла на пользу. Я, не долго думая, решил укрыться здесь от своего преследователя, который хотел насильно сбрить мне бороду тупой бритвой. Но, немного придя в себя, я обнаружил, что это вовсе не кукуруза, а камыш. Мстительный парикмахер искал меня и в камыше. По соседству раскинулась ярко-зеленая рисовая плантация. Я бегом перебрался в нее. Но лишь изрядно поранив себе лицо и руки, я сообразил, что это не рис, а осока...

С трудом оторвавшись от парикмахера, я, усталый, потный, запыхавшийся, оказался у высокого орехового дерева и с наслаждением растянулся в его прохладной тени, широко раскинув руки в стороны. Где-то в чаще дерева заливался неугомонный соловей. Забыв об опасности, которой только что избежал, слушая вдохновенного певца, я повеселел. Но в эту минуту небольшой орех упал с дерева прямо мне на лоб. Прижав рукой ушибленное место, я проснулся. На подушке лежал грушепечный орех, который сорвался с новогодней елки, стоявшей возле моей кровати. Вспомнив

вчерашний случай, я решил написать рассказ о парикмахере и отдать этим дань глубокого уважения и признательности его скромной, но нужной профессии, которая делает нас красивыми...

Старость

Их всегда видели вместе, когда они бывали на прогулке. Шагали они тихо, медленно, ссутулившись, словно сгибаясь под бременем прожитых лет. Старик, костистый, длинный, с большими растопыренными седыми усами на смуглом лице, прорезанном крупными морщинами, бережно вел старуху под руку. Когда случалось ему встретиться взглядом с прохожими, он смущался и неловко улыбался. А она, маленькая, хрупкая, с шаткой походкой, доверчиво опираясь на руку своего «кавалера», все время глядела вниз, словно боялась споткнуться.

Встречные с сочувствием и умилением смотрели на них: вот, мол, какая милая пара! А он, чувствуя это, еще больше улыбался, стараясь скрыть свое смущение.

Раньше он никогда не ходил с женой под руку. У горцев это считается неприличным. Но теперь, когда ей стало трудно передвигаться одной, без посторонней помощи, старик пребрел обычаем, однако побороть чувство неловкости при встрече с людьми все же не мог.

Еще не так давно старик со старухой редко появлялись на улице. Жили они на четвертом этаже большого коммунального дома. Ей,

страдавшей астмой, с трясущимися от слабости коленями, было трудно спускаться и подниматься по лестницам. Месяц тому назад старики обменяли свою двухкомнатную квартиру на однокомнатную на первом этаже в том же подъезде. И теперь они почти каждый день приходили в сквер, расположенный на берегу моря, чтобы посидеть на свежем воздухе.

Обычно, придя сюда, они отыскивали «свою» скамейку. Старик с каким-то веселым любопытством и доброй лукавой усмешкой в прищуренных глазах глядел на проходящие парочки, на шумно забавлявшихся детей, на все то, что окружало их здесь в эту прекрасную весеннюю пору. А старуха, напротив, почти все время сидела в неподвижной позе, безучастная ко всему.

Надышавшись воздухом и устав от продолжительного сидения на жесткой скамье, они через час-другой возвращались домой, купив по дороге чего-нибудь съестного. Дома первой начинала разговор обычно молчаливая старуха.

— Ай Газп, напрасно, валлах, папрасно ты это сделал, не послушался мепя, поменял квартиру,— произносила она, с укором поглядывая на мужа.— Дай аллах, приедет сын, мы его женим, пойдут внучата, а комната-то теперь у нас одна...

Газп отвечал не сразу. Он знал, что разговор об обмене только повод, чтобы, как всегда, поговорить о сыне: а то ведь можно подумать, будто они начали забывать о нем или, еще того хуже, не дай бог, что его нет в живых. Он не спеша вынимал из пачки, лежащей на столе, сигарету, медленно разминал ее

скрюченными узловатыми пальцами и заку-
ривал.

— Зачем, Шекер, говорить — «напрасно»? Нам пока так удобно. Вернется наш сын, мы найдем другую квартиру. Была бы голова — папаша найдется, — оправдывался муж.

— «Найдем», «найдем», — хмурясь, сердито передразнивала старуха, — как будто это так легко пайти — другую квартиру. А он, свет моих очей, вот увидишь, скоро, очень скоро приедет — сердце мне подсказывает. А материнское сердце не обманывает.

Гази давно привык к разговорам жены о сыне, хотя и нелегко ему слушать их. Но, чтобы не обижать и не расстраивать жену, он всегда делал вид, будто согласен с ней. Но так, как сегодня, она никогда не говорила о сыне. Что с ней?..

— Откуда, мать, у тебя такая уверенность? — осторожно, со скрытой болью в голосе спросил он жену, гася в пепельнице недокуренную сигарету.

— Откуда? Сон видела вчера ночью, — загадочно улыбнулась старуха, и лицо ее, все в мелких морщинках, засветилось великой материнской радостью. — Вижу во сне, мы лежим, и вдруг — стук в дверь: «Мама! Мама! Это я, открой!..»

Губы ее вздрагивают, она умолкает, не в силах говорить больше. Краем легкого шерстяного платка вытирает непослушные слезы, а глаза продолжают улыбаться. Гази хмурится, молча склоняет голову, чтобы не выдать своего волнения. Он не верит снам и еще больше тому, что их единственный сын жив-здоров и когда-нибудь вернется к ним. Но как ска-

зять об этом старухе, которая до сих пор, хотя прошло тридцать лет после окончания войны, не может примириться с мыслью, что сына нет в живых, а сейчас вбила себе в голову, будто он скоро должен вернуться.

Гази поднимает голову и задумчиво смотрит на жену.

— Знаешь, Шекер,— говорит он совсем не то, что думает в эту минуту,— иногда сны сбываются. Может, и твой сбудется...

Старуха молча улыбается ему сквозь слезы, благодарно кивает головой: это хорошо, очень хорошо, что и он верит в скорое возвращение сына...

Ночь... За окном темно и тихо. Город спит, погруженный в глубокое безмолвие. Рядом, уткнувшись лицом в подушку, посапывает старик. А старухе все не спится. Перед глазами встает ее жизнь с того памятного дня, когда она, восемнадцатилетняя девушка, сбежала с любимым из родного аула сюда, в город. Родители хотели выдать ее за своего родственника, за нареченного. Но она любила Гази. Чтобы не вызвать подозрения у родителей (те уже готовились к свадьбе), Шекер в тот день, как обычно, рано утром вышла из отцовской сакли, направляясь с кувшином в ущелье, к роднику. Недалеко от источника, между высокими кустарниками, в темной широкой бурке, накинутой на плечи, ее уже поджидал Гази, держа в поводу оседланную лошадь.

Он мог бы за свою дерзость поплатиться головой, но, слава богу, ничего страшного не произошло. Родители Шекер, узнав, что похищение было совершено полюбовно, не стали

мстить своему нежеланному зятю. Однако, возмущенные и оскорбленные поступком дочери, они отвернулись от нее.

Первое время беглецам приходилось очень трудно в чужом городе, без родных, без собственного угла. Но они были молоды, любили друг друга, и это помогало переносить все тяготы и лишения бесприютной жизни. Потом Гази удалось устроиться учеником бондаря на завод, а Шекер поступила на прядильную фабрику.

Вскоре в стране произошли великие перемены: революция, за ней — гражданская война и победа Советской власти. В жизнь молодых супругов, простых рабочих людей, вошло что-то новое, светлое, хотя до конца еще ими не осознанное. Они никогда не чувствовали себя такими счастливыми, уверенными в своем будущем, как сейчас. Но разве счастье когда-нибудь бывает полным и безоблачным? Годы шли, а детей у них не было. Шекер видела, что муж недоволен, и тревога закралась в сердце молодой женщины: вдруг Гази бросит ее и женится на другой, вдруг забудет, как она, любя его, убежала из отцовского гнезда, лишила себя родительского благословения, и как он сам рисковал жизнью ради любви к ней?..

Шекер мучительно переживала, думая, что рано или поздно наступит этот страшный день, если у них не будет ребенка. Но судьба оказалась благосклонной к ней: на восьмом году супружеской жизни у них родился сын. Шекер назвала его в честь своего отца, который все еще продолжал хранить обиду на дочь, — Юсуфом. Когда старик узнал, что у дочери

родился наконец ребенок и ему дали его имя, родительское сердце не выдержало — растаяло. Он взял с собой старуху и, купив подарков, поехал мириться с дочерью и зятем.

Шекер помнит первую улыбку на нежном личике сына-малютки. Навсегда, на всю жизнь сияющей радугой врезался в память день, когда ее малыш, радуясь и боясь, неустойчивыми ножками сделал первые самостоятельные шаги, протягивая к ней пухлые ручонки. Помнит Шекер, словно это было не много лет пазад, а совсем недавно, и то, как она, гордая, счастливая, еще молодая, с букетом ярких роз провожала сына в первый класс.

Муж хотел для Юсуффика брата или сестру, но что делать, если в жизни очень часто получается не так, как хочется. Юсуф был у них первым и последним ребенком.

Когда началась война, Юсуфу шел только шестнадцатый год. У многих матерей гибли сыновья на фронте, а война все не кончалась. Пришло время и ее Юсуфу надеть военную форму. Он сам добровольно ушел на фронт. Могла ли она удерживать его, хоть он у нее и единственный сын, когда шла война и многие матери оплакивали своих сыновей? Ведь кто-то должен встать на место павших, чтобы изгнать вражью нечисть с родной земли.

Провожая сына на фронт весной сорок четвертого года, мать верила, что он вернется живым и невредимым. Но весной тысяча девятьсот сорок пятого года, когда наши войска уже громили фашистов на их собственной земле, из той части, где служил Юсуф, пришло письмо о том, что он пропал без вести. Письмо ос-

тавляло матери надежду, что сын жив и вернется. Разве не было таких случаев? Если до сих пор, спустя очень много лет сын еще не вернулся, не раз думала Шекер, то, видно, враги держат ее Юсуфа в плену, как злые дэвы¹ свои жертвы в заколдованных замках. Но не таков ее орел, чтобы вечно томиться в пелене. И ей, особенно после вчерашнего сна, верилось, что ему наконец удалось вырваться на свободу и сейчас он мчится, как на крыльях, в родную сторону, к своей истосковавшейся матери...

Взволнованная воспоминаниями и думами о сыне, старуха долго не может уснуть. Но усталость наконец берет свое — она начинает засыпать. И вдруг сквозь дрему до нее доносятся чьи-то тяжелые шаги, которые внезапно затихают у дверей их комнаты. Она сразу открывает глаза и, приподнявшись на постели, прислушивается. Но проходит минута, две, три, а в подъезде по-прежнему ни единого звука. Шекер уже решает, что ей почудилось, но тут кто-то тихо, осторожно, словно стараясь не испугать спящих, трижды постучал в дверь. И вслед за этим точь-в-точь, как было во сне, Шекер слышит молодой и бесконечно родной голос сына: «Мама! Мама! Это я! Я приехал!..»

— Сын мой! — задыхаясь, почти не слышно кричит старуха, сразу потеряв голос.

Мать, охваченная безумной радостью, вскакивает с постели. В длинной ночной рубашке, с растрепанными седыми волосами, она, протягивая руки вперед и шатаясь, как пьяная, устремляется к двери. Но, не дойдя до нее

¹ Дэвы — сказочные великаны.

двух шагов, падает как подкошенная на голый пол.

— Мама! Мамочка! Что с тобой?! Отец! — слышится за дверью тревожный голос.

Потрясенный Гази стремительно подбегает к двери, дрожащей рукой распахивает ее и тут же останавливается в оцепенении: в полуосвещенном подъезде, у их порога стоит стройный, подтянутый юноша в солдатской форме, с чемоданчиком в руке — соседский сын, приехавший на побывку домой. Он не знал, что его семья уже не живет здесь.

...С тех пор старик ходит один, с палочкой в руке. Теперь, встречаясь взглядом с прохожими, он не улыбается смущенно, как прежде, когда брел под руку со своей старой подругой.

Недавно я шел по скверу и видел старика на той же скамейке, где они обычно сидели вместе. Весна была в разгаре. Деревья в зеленом уборе, трава вокруг кустов, яркие цветы на клумбах, гладкая синь моря — все празднично сверкало под лучами солнца. Как и в последний раз, когда Гази был здесь с женой, по утоптанной дорожке, посыпанной желтым песочком, проходили парочки, раздавался веселый детский смех. А старик, сложив на палке руки и оперев на них острый заросший подбородок, усталыми, печальными глазами неотрывно смотрел перед собой, о чем-то думая...

СОДЕРЖАНИЕ

Возмездие. Повесть . . . 3

Рассказы

Как я писал диссертацию . . 189

Жених бабушки Фатьмы . . 198

Как я воскрес 205

Телефон 210

Хабар и хинкал 217

Черные слезы 225

Встречи у родника 231

Мастер красоты 239

Старость 246

ИБ № 891

**Хизгил Давыдович
Авшалумов**

ВОЗМЕЗДИЕ

Повесть и рассказы

Редактор **М. Тучина**

Художник **О. Коняшин**

Художественный редактор **В. Покусаев**

Технический редактор **Е. Румянцева**

Корректоры **И. Николаева, З. Князькова**

Сдано в набор 6/IX-1977 г. Подписано к печати
2/II-1978 г. А10924. Формат изд. 70 $\times$ 90/32. Бумага
тип. № 1. Печ. л. 8. Усл. печ. л. 9,36. Уч.-изд.
л. 9,54. Тираж 30 000 экз. Заказ № 5817
Цена 75 коп.

Издательство «Современник» Государственного
комитета Совета Министров РСФСР по делам
издательств, полиграфии и книжной торговли
и Союза писателей РСФСР
121351, Москва, Г-351, Ярцевская, 4

390012, Рязань, Новая, 69/12
Рязанская областная типография

ДОРОГОЙ ЧИТАТЕЛЫ!

Просим Вас отзывы о книге, ее содержании, художественном оформлении и полиграфическом исполнении, направлять по адресу:

121351, Москва, Г-351, Ярцевская, 4
Издательство «Современник»

